

ВАЛЕНТИН  
ПИКУЛЬ



НА ЗАДВОРКАХ  
ВЕЛИКОЙ  
ИМПЕРИИ



Валентин Пикуль

**На задворках Великой империи.  
Том 2. Книга вторая. Белая ворона**

«ВЕЧЕ»

1966

**Пикуль В. С.**

На задворках Великой империи. Том 2. Книга вторая. Белая ворона  
/ В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1966

ISBN 978-5-4444-8873-7

«На задворках Великой империи» – один из ранних романов В.С. Пикуля. Это панорамное повествование о жизни провинциального российского города в вымышленной, но вполне узнаваемой Уренской губернии в начале XX века. Произведение написано в духе сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина, одного из любимых авторов Валентина Саввича. Замысел романа и образ главного героя – князя Сергея Яковлевича Мышецкого – возник у писателя в результате длительного и внимательного изучения архивных документов Государственной думы.

ISBN 978-5-4444-8873-7

© Пикуль В. С., 1966

© ВЕЧЕ, 1966

## Содержание

Большой разъезд Петербурга	6
Глава первая	10
1	10
2	15
3	20
4	24
5	31
6	37
7	44
8	49
Глава вторая	55
1	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Валентин Пикуль**  
**На задворках великой империи**  
**Том 2. Книга вторая. Белая ворона**

© Пикуль В. С., наследники, 2011

© Пикуль А. И., составление и комментарии, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

## Большой разъезд Петербурга (Вместо пролога)

С самой Пасхи и до глубокой осени Санкт-Петербург вроде забыт и покинут. Окна в домах столицы густо затерты мелом – все, кроме прислуги, давно на дачах. В пустых старинных квартирах (теплых зимой и прохладных летом) покоятся под чехлами, смазанные луком, драгоценные полотна. В яркой синьке лежат до приезда хозяев горки фамильного хрусталя, а уютная мебель затянута полосатым тиком.

По вечерам еще шумят музыкой Острова, Озерки да «Минерашки». А на фешенебельном зигзаге Большой Морской, Невского и Литейного рано тишает. Проходит городской (бляха № 412) и говорит дворнику (бляха № 1034):

– А что, Лукич? Вишь ты, Игнатьевна, как лавку закрывала, так мне языка копченого сунула. Почитай, с фунт потянет! Нешто дадим закуске пропасть?

– Эва! – отвечает ему дворник. – С чего бы это?..

Лукич ступает неслышно, яко тать в полуночи, – на ногах его валенки, которые ежегодно валял ему кум в деревне. А теперь вот кум утонул в реке по пьяному делу, и оттого Лукичу грустно: «Таких боле никто не свалает». Рядом с ним, неся копченый язык, шествует его старый друг и сподвижник-городовой; звончайше цокают по каменюгам подковы его громадных сапог, выданных на верную службу отечеству.

Вот и питейное, куда пускают в поздний час лишь служителей порядка и спокойствия. Закуска и табачок-то у них свои, а горячительное ставят бесплатно: «Хошь залейся! Потому как начальство. Мы ведь не звери – все понимаем!» И плавно текут под водку чудные разговоры мемуарного характера:

– Я ему и говорю: нешто можно? А он мне – в глаз! Ну, туточки я закон вспомянул, медаль нацепил... Вот эту. Не, у меня другая есть! Другую медаль нацепил и кэ-э-эк врежу ему по циферблату! С медалью-то...

– Ого-го-го! Ты мастак... А ён-то што? Ён-то?

– Не вру: только стрелки посыпались. Теперича, говорю, тебя, милый друг, никакой часовщик собирать не возьмется. А коли станешь приставу жалиться, так я тебя в протокол запишачу. Вот ты сиди там и на закон с уваженьем поглядывай... Рази не прав?

– Золотые слова твои, Лукич, – произносит владелец питейного. – Закон – это, можно сказать, все. Да и что бы мы без закона делали? Посудите сами.

– Спились бы! – отвечает городской. – Ну, спасибочко за компанию, мне и на службу пора...

И возвращаются обратно: один – на перекресток, другой – в подворотню. Один в сапогах, другой в валенках.

– Кой же денек завтрева, Лукич?

– Да, кажись, суббота.

«Цок-цок... Шарк-шарк...» Хорошо им – помирать не хочется!

\*\*\*

Пылят раскаленные мостовые, слепит глаза белый камень дворцов, тархтят окаянные пролетки. Чиновная душа в такие дни жаждет отдохновенной прохлады, шипучей воды «Аполлинарис» и уютного общения с природой. Повсюду в департаментах слышны подчас легкомысленные разговоры:

– Хорошо бы нам, господа, на Острова закатиться. Да прямо – на поплавок! Небось и Марфа Андреевна не откажется?..

И вот он, вожделенный момент. Отворяются кованые ворота великих «имперских чистилиц» (министерств, департаментов, казначейств и канцелярий). Двери, как известно, бывают разные, и любому смертному, из числа пришедших в сей мир, дано неумолимой судьбой прийти в него и обратно выйти. Но и в этом случае, как всегда, не спешите опережать свое начальство. Помни «Табель о рангах», что введена в русскую жизнь еще при Петре I...

Ударив в пол апостольским посохом, с поклоном выпускает швейцар поначалу действительных тайных и просто тайных советников. Херувимоподобно плывут они по мраморным лестницам, одаривая швейцара, как правило, рубля в три (а бывает, и ничего не дают). В жизни этих господ все размерено и утверждено. На смерть их журналисты пишут некрологи заранее, годами выдерживая их в ящиках стола, дабы в нужный день не подвести редакцию: «С глубоким прискорбием извещаем наших читателей о кончине...»

Завтра тайных уже приласкают золотые пляжи Паланги или курзалы «Монрепо»; а иных подхватят голубые экспрессы, и проснется тайный советник уже в цветочной Ницце. Вставит он в рот искусственную челюсть и, вспомнив буйную гусарскую молодость, прошепелявит гугняво:

О, этот юг! О, эта Нишша!  
О, как их блешк меня тревошит...

За тайными следуют советники рангом пониже – статские, коллежские, надворные. Курс мзды швейцару с этих господ неустойчив – от гривенника до рубля. Семянят же они по лестницам бойчее тайных, торопясь не опоздать на ближайший дачный поезд. Эту публику уже поджидает чудесное взморье Мартышкина, тихие променады Сестрорецка, лучезарные закаты над пасторальной Вырицей:

Туда влечет перстами алыми  
И дачников волнует зря  
Над запыленными вокзалами  
Недостижимая заря...

Но вот швейцар ставит свой посох в угол и припирает двери кирпичом, припасенным заранее. Сие значит, что особы первых восьми классов уже прошли – осталась мелкая сошка. Из канцелярий рвутся на простор вселенной коллежские секретари; полные надежд на светлое будущее, спешат титулярные. Рыцари пера и кавалеры чернильницы! Божественная Ницца для таких господ еще слишком далека. Да и шут с ней, с этой Ниццей, – тут бы как-нибудь до Лигова поскорее добраться.

– Тимофей Акимыч, – покрикивают на бегу титулярные, – ты уж, брат, извини!.. Сегодня мелких нету! Потом...

– Чего уж там, – вздыхает швейцар. – Бог с вами...

Вся эта публика бойко, словно муравьи, разбегается по лавкам, тащит корзины с провизией. Смотреть на этих людей – страшно! Громадные арбузы выкручиваются из потных рук.

– Эй, извозчик! – вопят они. – Гони на вокзал!..

Постепенно они рассасываются по болотам Лигова и Сусанина, отдавая себя на прожор хищным комарам; поезда выкидывают их у Лахты и Лисьего Носа, развозят по разным чухляндским кочкам и убежищам (увы, не «Монрепо»), где каждый вечер

...за шлагбаумами,

Заламывая котелки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Испытанные остряки...

Швейцар давно убрал кирпич, уже собираясь запереть двери как следует. Но тут к нему подошла, слезно мигая, самая последняя фигура в петровской «Табели о рангах».

Коллежский регистратор Синюхаев, честь имею!

– Тимофей Акимыч, – сказал Синюхаев с испугом, – разве уж я, голубок... Или мы других хуже? Ей-ей, миляга, только до двадцатого... Выручи! А? Дай полтину. Всего полтинничек... А?

– Да вить не отдашь, – мудро отвечает швейцар, запирая высокие кованые двери: всё! – разъезд Петербурга окончен...

Через весь город тащится коллежский регистратор Синюхаев к себе на Тентелевку – аж к черту на кулички. Статистика (эта великая наука) пришла к печальному выводу, что такая чиновная мелюзга, как регистраторы, дач вообще не снимает. Забрав в воскресенье с утра пораньше детишек и жену с тещей, выезжают они на травку – куда-нибудь в Озерки или в Шувалово. Ну, баранки; ну, селедочка; ну, жена сыграет им на гитаре, как водится:

Нет ни кофию, ни чаю,  
Нет ни пива, ни вина,  
Вот теперь я понимаю,  
Что коллежская жена!..

Разостлав на травке недочитанный номер «Полицейских ведомостей», регистраторы там и выдыхаются, как сурки, за всю неделю сразу. Воспряв же ото сна, они снова готовы любую бумагу приять согласно положению, скрепить, проколоть, подшить и дать ей соответствующее течение по ведомственным каналам великой Российской империи.

Могут (по желанию) и вообще приостановить течение. А потому, люди, вы этой мелюзги бойтесь!..

\*\*\*

Но там, где из труб заводских оседает на крыши бараков гарь и копоть Путиловского или Обуховского, там живет, провожая праздничную субботу, совсем другой Петербург...

Квохчут в жирной пыли куры, уныло бегают, поджав хвосты, битые собачонки заводских окраин. Вытянув длинные руки вдоль бедер, словно бойцы после тяжелой битвы, возвращаются из цехов рабочие. От горнов, от наковален...

Здесь жизнь унылая, без просвета. Шмякнут с полочки пятерку на восемь ртов и скажут:

– Вот и крутись, мать, как хочешь!..

Никто еще не знал тогда, что этому Петербургу, коптившему небо над окраинами вечного города, суждено скоро заявить о себе – зычно, властно, многоголосо...

\*\*\*

За красной, как мясо, стеной флотского экипажа – рано-рано – поет залихватский рожок горниста. Тонко позванивая, прокатится через Невский первый трамвай с зевающим в пустом вагоне господином. От вонючего Обводного канала, завернув на Забалканский, четко процокает казачий разъезд.

И за стенами экипажа колотятся с утра пораньше сапоги по булыгам, трещат на ветру жесткие матросские робы. А господину скучно после веселой ночи, и он думает – как бы прожить до жалованья, ни у кого не занимая. «Нет, не проживешь – займешь!» У казачья морды сытые, с узкими лезвиями глазок, в которых тускло светятся жуть и злоба одичалых пьяных казарм...

На улицах еще безлюдно. Свистящими голиками дворники ожесточенно метут панели и мостовые, загаженные с вечера гулящей публикой. Полупьяная проститутка спешит домой мелкими шагами, жадно пьет с похмелья воду у разборной колонки. Заспанные горничные, сонно ругаясь, выводят прогулять собачек. С грохотом и треском уже тащатся через город ломовые извозчики, со вкусом распивая на козлах первую за день сороковку.

Медленно пробуждается Петербург: тяжелый день впереди – понедельник. Взрывают тишину гудки на окраинах, созывая рабочий люд в горячечный ад цехов. Но эти гудки почти не достигают центра столицы, где – в зелени бульваров – тихо опочили (вот уже второе столетие) уют и спокойствие старых барских особняков...

...Неслышные шаги лакея по ковру.

– Ваше сиятельство, проснитесь. Вечеру еще велели разбудить пораньше!

Сергей Яковлевич открыл глаза и, закинув руки под влажный от ночного пота затылок, долго глядел в лепной потолок.

– Разве я просил тебя? – спросил сонно.

– Собирались, ваше сиятельство, ехать...

– Ехать? Да. Надо ехать. Только позже. Ты опять все перепутал. Вечером! Узнай, когда поезда ходят в Стрельну...

– Мундирчик какой прикажете?

– Да никакой...

И, отвернувшись к стене, снова заснул. Его разбудила полуденная пушка – пушка Петропавловской крепости, и он встал – разбитый, уничтоженный, растерянный...

## Глава первая

– Милостивые государи! Имею честь объявить общее собрание открытым...

– Ого!

– Прошу вас взять назад это «ого». Я не могу допустить никаких «ого». Если вы позволите себе во второй раз делать подобные восклицания, я лишу вас слова. Это вам угодно говорить?

– Да, это я воскликнул «ого», и не с тем, чтобы оскорбить вас. Я сторонник расширения всяких прав и, услышав вопрос о расширении прав правления, воскликнул «ого». Это значит – я доволен!

– В таком случае я беру назад свое замечание...

**Иван Горбунов**

### 1

Министр внутренних дел, князь Святополк-Мирский, отказался принимать какие-либо объяснения от Мышецкого, пока не услышит мнения правительствующего сената. Между тем и Сергею Яковлевичу, помимо министра, не терпелось знать высокое мнение сената о себе и своих уренских передрягах...

– Без працы не бенды кололацы! – сказал князь, спрыгивая вечером с поезда на перрон станции Стрельна.

Жадно обонял дачный воздух: море, духи, акации.

«Ах, боже мой, как давно ничего этого не было!» Под куполом вокзального ресторана заиграл румынский оркестр Аки-Альби, восемь поджарых смуглянок в гусарских штанах сели на колени к офицерам и хором запели – печальное:

На Фейчшулинском перевале

Убьют, наверное, меня...

Князю нечаянно вспомнился Подгоричани и вся низость падения этого человека. «Вот, – решил Мышецкий, – ему и не мешало бы погибнуть на этом перевале... Но мне-то за что все это?» Подумал так и влился в праздную толпу.

Было пестро, шумно и отчасти даже чинно. Из зелени садов ревели граммофонные трубы. На ровных грядах клумб лежали среди георгинов громадные стеклянные шары – такие хрупкие. И даже не верилось, что где-то война... Впрочем, Порт-Артур от Стрельны очень далек, и он, слава богу, еще держится!

И публика здесь вроде забыла о войне. Но как она разволновалась, когда из стрельчатых ворот виллы выкатилось роскошное тильбюри, запряженное «a la Domon» четверкой цугом, с фореитором. Держа на коленях лукошко с грибами, сидела в тильбюри жилистая, похожая на мулатку, женщина. Это была балерина Матильда Кшесинская, приехавшая под вечер собрать урожай со своих грибных плантаций. Неподдалеку же стоял и дворец великого князя Дмитрия Константиновича (да и вся Стрельна, надо сказать, принадлежала тогда великому князю)...

Толпа гуляющих заметно поредела; уже потянуло от залива туманцем, заквакали лягухи.

Вот и дача сенатора Мясоедова. Сергей Яковлевич трижды перекрестил себя и толкнул калитку.

\*\*\*

Мышецкий сразу же попал впросак, ибо сенатор Мясоедов, как это ни странно, не мог его вспомнить. В старой венгерке, плохо выбритый, сенатор напоминал чем-то «дикого» степного барина, а не видного сановника империи. Было что-то весьма старомодное в его согбенной фигуре, но глаза глядели по-прежнему молодо и зорко. И папиросу из большой коробки Мясоедов взял цепко.

– Прошу, – показал он на кресло. – Чему обязан?

– Ваше превосходительство, – начал Сергей Яковлевич, – осмелюсь напомнить, что после свершения вами ревизии вы изволили благословить меня на пост уренского губернатора...

Короткое раздумье на челе сенатора, и – вопрос:

– Вы, кажется, из лицеистов?

– Кандидат правоведения, ваше превосходительство.

– Хм... И какова же была тема вашего реферата?

– Его, – ответил Мышецкий обстоятельно, – можно прочесть в «Журнале министерства юстиции», а тема такова: роль прощения о назначении пенсии как момента, определяющего начальный срок для ее производства... Реферат был отмечен на конкурсе!

Мясоедов дал князю осмотреться. На всех предметах лежала печать запустения и старческого небрежения. Поверх рояля были разбросаны ноты, а в углу – перед иконкой «Утоли моя печали» – вздрагивал трепетный огонек неугасимой лампадки. Портреты братьев Аксаковых, украшавшие рабочее бюро сенатора, обнадежили Мышецкого в несомненном патриотизме сановника.

Сергей Яковлевич начал разговор осторожно:

– Я часто вспоминал наш былой разговор о плевелах...

– О чем? – глуховато напрягся сенатор.

– О плевелах, ваше превосходительство.

– Так.

– Тогда вы, – продолжал Сергей Яковлевич, – государственно-разумно поддержали мою мысль о том, что все плевелы надобно вырывать с корнем...

И вдруг Мясоедов поднял иссохшую ладонь:

– Князь! Вы меня, очевидно, неверно поняли. И сам спаситель воспрещает отделять от плевел пшеницу, дабы ошибкою или случайно не выдернуть злак вместо сорных плевел...

Только сейчас Мышецкий заметил, какой уже старенький сенатор Мясоедов, – Влахопулов был бы перед ним еще молодцом!

– Ваше превосходительство, – начал князь снова, – не могли столь глубоко запомнить о том неприятном положении, в коем я был оставлен вами в Уренской губернии, мне вверенной?

По тому, как заострился взгляд старика, Мышецкий догадался, что сенатор – наконец-то! – вспомнил его. Вспомнил и теперь, наверное, перебирает в памяти всё его дело.

– И, однако, это не совсем так, – возразил Мясоедов, причмокнув. – Положение Уренской губернии при настоящей ситуации нимало не отличается от положения других губерний империи. И ваше дело, князь, как аптекаря, заключалось только в одном: отпускать на Уренскую губернию лишь те лекарства и в тех дозах, в коих соизволит прописать доктор! Не так ли?

– Простите, – осведомился Сергей Яковлевич, – но кого прикажете понимать под «доктором»? Сенат? Министерство?

– Станный вопрос... от губернатора! И вы, князь, очевидно, своих обязанностей как следует не знаете?

– Нет, я их знаю... примитивно, – отвечал Мышецкий.

– Вот как? – нахмурился сенатор.

– Да, если угодно, примитивно.

– Объясните же!

– С удовольствием... Вот известный князь Щербатов три года управлял Московской губернией, приобретя себе славу превосходного администратора. Когда же он вышел в отставку, то в столе у него были обнаружены все пакеты от министра с надписью «Совершенно секретно». И все, как один, были не распечатаны!

– Этим примером вы, князь, хотите подчеркнуть...

– ...только независимость своего мнения! – подхватил Мышецкий. – Я пришел к убеждению, что губернатор, назначенный лично императором, подчиняясь только сенату, должен исполнять распоряжения министерств, но никому из министров в отдельности не подчиняться. Инициатива и добрая воля к свершению блага – вот основные принципы, которых я и придерживался!

Это было чересчур искренне, и Мясоедов фыркнул.

– Вы не избаловались ли там... вдалеке? Когда вы, князь, стали губернатором – при Сипягине или при Плеве?

– При Вячеславе Константиновиче.

– Странно! Странно, и совсем непохоже на покойного Плеве.

На что Мышецкий вполне разумно ответил сенатору:

– Но губернатору совсем необязательно быть похожим на своего министра... Хотя бы – на Плеве!

Ход мыслей старика сенатора был теперь для Мышецкого таинствен, как возня мышей под полом. Вот и этот вопрос:

– Простите меня, сударь, но я как-то не могу уразуметь причин вашего визита ко мне.

Сергей Яковлевич вцепился в подлокотники кресла:

– Я пришел к вашему превосходительству в чаянии той поддержки, которую вы однажды уже оказали мне. А ныне я пребываю в некотором подозрении...

– Как? – И рука сенатора была приставлена к уху.

– В подозрении, – четко выговорил Мышецкий.

Синеватые пальцы сенатора стиснулись в жесткий замок и даже побелели от напряжения.

– Князь! Сейчас половина России находится у правительства в подозрении. Однако же мало кто из числа подозреваемых обращается в сенат, например – ко мне!

– Но мое положение...

– Я не понимаю, – властно перебил князя Мясоедов, – о какой поддержке вы хлопочете? Ваше дело (помню, помню) о разведении коммунальных мужицких хозяйств в степи...

– Артельных! – быстро поправил его Мышецкий.

– Безразлично, – отмахнулся сенатор. – Но это дело столь ответственно, что я, ваш покорный слуга, не берусь рассудить его самолично...

Сергей Яковлевич снова посмотрел на портреты Аксаковых и решил возвратить старика сенатора к безвозвратным временам его славянофильской молодости.

– Эти благородные лики, – сказал князь, – неужели не могут быть посредниками между нами? И пусть до того, как вы станете судить меня в сенате, пусть они, эти апостолы, напомнят нам об артельных началах крестьянства на Руси!

Мясоедов вдруг начал злиться:

– Времена изменились, князь! Мужики артельно пашут, артельно пьют в кабаке и так же артельно идут жечь наши родовые усадьбы! Вам-то, Рюриковичу, должно быть это известно...

Разговор оборвался. Надо что-то сказать.

– Я имел честь, – начал Сергей Яковлевич, – ознакомиться с вашим «Особым мнением» относительно расселения немецких колонистов на уренских землях...

– Да, князь, – кивнула в ответ маститая голова, – я не вижу особого греха, ежели наши головотяпы возьмут от немцев все самое рациональное в развитии форм ведения сельского хозяйства.

Бородатые старцы Аксаковы смиренно взирали из золоченых багетов на панславянскую мудрость потомства. Сергей Яковлевич неожиданно подумал о покойнике Влахопулове: «Боже мой, он был куда покладистее!..»

– Вы ошибочно думаете, – ответил Мышецкий, – что на землях Уренской губернии расселились какие-то добрые дяденьки-инструкторы. Совсем нет! Это скорее создатели крепостей-латифундий среди поработанного народа. И мне кажется, что высокому сенату совсем не пристало поддерживать идею колонизации Германией русских просторов! Потомство будет судить, но... кого?

Вот тут-то и началось.

– По какому праву вы, князь, – с шипением спросил сенатор, – подвергаете сомнению мою любовь к отечеству? Выстрадайте эту любовь, как выстрадал ее я... Я потерял сына под Рущуком, эта война уже унесла моего внука. Мой зять ведет сейчас броненосец на восток, и я еще не знаю, не быть ли моей дочери вдовою! Не извольте же забываться, князь! – выкрикнул Мясоедов.

Сергей Яковлевич встал и учтиво поклонился:

– Я уважаю ваши чувства и пришел к вам, как сын приходит к отцу. В поисках истины! Блудного сына тоже выслушивают. И если можно, то его прощают...

– Сенат и вас простил бы! – ответил Мясоедов гневно. – При Александре Втором и Третьем. Но только не сейчас, когда над Россией висит угроза новой пугачевщины. Мы не можем простить вам, князь, ваши социальные эксперименты над мужиком...

И тут прошуршало за спиной – шелково-воздушно: вошла дочь сенатора, еще моложавая дама, робкая и печальная.

– Папа, – сказала она, горячо целуя руку отца, – милый папа, прости... Я слышала! Не ругай князя... Ты взволнован... но ты же у нас добрый, папа!

Мясоедов глухо кашлял, пальцы его запутывались в шнурах венгерки, из-под которой выпал костяной образок.

– Мы можем простить вам все! – сказал он на прощание. – Любое увлечение молодости. Карточный долг. Дурную связь с женщиной... Даже взятку! Но сенат никогда не будет потворствовать занесению в мужицкую артель социальной заразы... Бог с вами!

Дочь сенатора проводила Мышецкого до калитки.

– Вы должны понять нас, – сказала она. – Если бы вы, князь, пришли вчера, все было бы иначе...

– Сударыня, видит бог, я не желал внести в ваш дом беспокойство. Но... что же случилось?

И все стало понятно из ответа женщины:

– Мы только сегодня утром получили телеграмму от управляющего. Мужики сожгли нашу родовую усадьбу. А там – книги, там – прошлое, там – архивы. Там наше все...

\*\*\*

Вернулся на вокзал и в ожидании поезда зашел в ресторан. Через весь зал, нарядный (белое с золотом), вытирая усы после выпивки, шел красавец Аки-Альби.

– Для вас? – спросил он по-русски.

– Что-нибудь, – ответил Мышецкий и стал глушить коньяк.

Один поезд он пропустил сознательно:

Гори, гори, моя звезда,  
Звезда моя – заветная...

Второй поезд он пропустил уже бессознательно.

На Фейчшулинском перевале  
Убьют, наверное, меня...

## 2

«Зачем России иметь сенат, если уже имеется Яхт-клуб?»

Такому вопросу не следует удивляться. Впрочем, не надо удивляться и тому, что главной улицей Петербурга стала Морская, а не знаменитый Невский проспект, и только потому, что на Морской как раз и располагался Яхт-клуб. Ошибочно думать, что члены этого клуба ретиво катались на яхтах. Совсем нет, они зачастую не умели даже паруса поставить. Российский Яхт-клуб занимался... интригами. Теперь понятно?

«Но в Яхт-клубе говорят... В Яхт-клубе уже давно решили... В Яхт-клубе судят об этом иначе!» – часто слышалось среди придворных. Великие князья и отборные сливки общества были членами Яхт-клуба. И министры не гнушались порой выслушивать болтовню кавалергарда, причастного к этой «святыне» бомонда. Зато с каким достоинством сидели члены Яхт-клуба возле окон, наблюдая за движением карет и пролеток по Морской улице, пренебрежительно улавливая пыльные и завистливые взгляды людей, непрichастных к этому волшебному миру...

Мышецкий первым делом полистал «членскую книгу» клуба – нет, его еще не исключили. В канцелярии князь поспешил уплатить взносы вперед – даже за 1906 год: «Так вернее!» После чего проследовал наверх и заказал себе обед.

– Я буду в библиотеке. Потрудитесь напомнить...

Сейчас его интересовало новое уголовное уложение. Причем интерес этот не был профессиональным интересом юриста. Нет, просто в душе Сергея Яковлевича, умело скрытое, бушевало пламя ревности и оскорбленного достоинства. Сцена на даче старухи Багреевой мучила его – пора рассчитаться с Иконниковым и Алисой!

А в библиотеке Яхт-клуба было прохладно, таинственный полумрак окутывал и без того темные, отделанные мореным дубом комнаты. И никто не мог помешать Сергею Яковлевичу, кроме единственного читателя – великого князя Николая Николаевича, генерал-инспектора русской кавалерии. В белом походном (по случаю войны) кителе, с Георгием в петлице, великий князь перебирал газеты, просматривая списки убитых и награжденных.

– Добрый день, ваше высочество, – поклонился ему Мышецкий, проследовав к шкафу с юридической литературой...

Было тихо. И тихо шуршал газетами великий князь. Да бронзовые, в человеческий рост, часы, массивный маятник которых качался возле самого пола, со старческим равнодушием прохрипели что-то около шести часов и снова самодовольно замкнулись в себе.

Итак, сначала посмотрим, что можно сделать с Алисой, нашей добропорядочной женой и матерью, урожденной баронессой Гюне фон Гойнинген... Вот как раз пункт второй статьи триста семьдесят второй: супруга, сбежавшая с любовником от семьи, наказуется, как служащий, «виновный в самовольном оставлении парохода или морского судна, отправляющихся в плавание или находящихся в таковом, без уважительной причины, на срок более трех суток»!

Упрощение кодекса до такой вульгарной степени потрясло душу правоведа. Мышецкого совсем не устраивало судить Алису, как служащего, сбежавшего с парохода перед отплытием в бурное море. Но тут великий князь Николай Николаевич оторвался от газеты, спросил:

– Граф Подгоричани... это какой?

– Сербская фамилия, – увильнул князь Мышецкий.

– Помню я одного, – призадумался Николай Николаевич, – он, кажется, по Конногвардейскому был? У него еще случилась глупая история с мучной фабрикантшей...

«Додо!» И Мышецкий, похолодев, снова сунулся в книгу: донжуана Иконникова можно преследовать, как «виновного в умышленном нанесении удара или ином насильственном действии, нарушившем телесную прикосновенность» (статья четыреста семьдесят пятая). Сергей

Яковлевич порядком расстроился. Подобные варианты его никоим образом не устраивали. Значит, надобно рассудить самому, не полагаясь на новые законы... «Так! Именно так».

Николай Николаевич оставил газеты и ушел. Мышецкий искоса глянул на свежие листы... Вот он! Под пышным венком с надписью «Славой и кровью венчаные воины» красовался портрет Анатолия Подгоричани. И было сказано, что вольноопределяющийся граф А. Н. Подгоричани в битве под Ляояном тяжко контужен в голову, но строя не покинул и представлен к Георгию.

«Что ж, молодец!»

На цыпочках вошел лакей и шепотом, чтобы не нарушить величавой тишины библиотеки, сказал:

– Ваше сиятельство, вы можете проследовать к столу...

\*\*\*

В мундире, облитом золотом галунов, весь в брандесбурах и этишкетах, вошел солидный господин с профилем английского лорда и хорошо поставленным, как у Баттистини, голосом возвестил:

– Котлета-фри. Соус крутон-моэль. Гарнели в вине белом. Подать: стол камер-юнкера, его сиятельства князя Мышецкого!

Тонко жужжала одинокая муха. Невидимый церемониймейстер руководил перемещением фигур в этой сцене. Дымящийся поднос – только мелькали салфетки – передавался с рук на руки, все выше и выше рангом в лакейской олигархии, пока котлетка, величиной с пятак, не оказалась перед Мышецким.

Он поправил пенсне и взялся за одну из вилок. Взялся за вилку и положил ее обратно. Даже спиной он ощутил первый за все это время дружеский взгляд. Именно – дружеский!

– Доктор Бертенсон! – радостно воскликнул Мышецкий, обернувшись. – Ах, как я рад вас видеть!..

Бертенсон (чистенький, приветливый, в скромном армейском мундире) подсел к столу князя. Светлые глаза доктора изливали на Мышецкого потоки благодушия.

– Где вы сейчас? – спросил его Сергей Яковлевич.

– Состою при флотских гвардейских экипажах. А вы, князь, я слышал, в абшиде пребываете?

– Да, меня стали обглаживать. И даже не с хвоста, а прямо с головы... А чем вы озабочены, Василий Бернгардович?

Бертенсон устало провел рукою по пухлому мальчишескому лицу, как-то сразу стал скучным.

– В черноморских экипажах беспокойно, – сообщил он. – Как бы не перекинулось и на Балтику!

– Вы думаете? – почти равнодушно спросил Мышецкий. – Но я был уверен, что всех подозрительных матросов отправили с эскадрой Рождественского... туда – на восток!

Лакей подсунул под локоть Мышецкого визитную карточку с двумя загнутыми уголками (знак особого внимания). Неожиданно резануло висок старой болью, еще уренской. Сергей Яковлевич потер его, морщась, и Бертенсон как врач не преминул это заметить, хотя ничего и не сказал. Спокойно выслушал он рассказ Мышецкого о всех последствиях его губернаторства.

– Сначала, – напомнил, – гляньте, от кого эта карточка.

– Действительный статский советник Жеребцов, – прочитал Сергей Яковлевич и спросил у лакея: – Откуда?

Лакей указал в дальний угол зала, где сидел незнакомый пожилой господин. Крепкий, коротко стриженный, смачно жующий.

– Но я совсем не знаю его.

– Зато я слышан, – пояснил Бертенсон. – Состоял по четвертому отделению его величества канцелярии. Обворовал кого мог – сирот, старух, глухонемых, слепых и прочих уродов... Теперь же, награбившись, спешит в отставку.

Сергей Яковлевич сунул визитку под тарелку:

– Итак, милый Василий Бернгардович, я слушаю...

– Впрочем, – ответил Бертенсон спокойно, – можете остановить меня сразу, ежели слушать станет невмоготу. Я советую вам одну подлость. Но так как к этой подлости прибегают все министры, то простит бог и нас грешных... Попробуйте, – сказал доктор, – проклянуться в Гродненском переулке!

– Мне? – испугался Мышецкий. – В эту клоаку?

– Поверьте, – утешал его доктор, – в некрологах не пишут, кто был и кто не был в Гродненском тупике. Не все ли вам равно? А я совсем не хочу видеть вас в обидах. Вы еще молоды, князь, можете многое сделать. Да и время... преглупейшее!

В конце Гродненского переулка была глухая зловонная нора. А в этой норе, пыхтя и злобствуя, проживал издатель газеты «Гражданин», романист князь Владимир Петрович Мещерский.

– Неприлично, – сказал Сергей Яковлевич, невольно краснея.

– Ах, не все ли вам равно? – отвечал Бертенсон...

В обеденном зале Яхт-клуба появились два новых лица: князь Валентин Долгорукий и турецкий атташе Азис-бей, прикомандированный к полку кавалергардов.

– Атташе! – сразу позвал его Бертенсон. – Покажите-ка мне ваш дурацкий палец.

Валя Долгорукий как-то быстро увильнул в кабинет, где обедали дипломаты. А турок, осыпав всех белоснежной улыбкой, протянул Бертенсону распухший, как бублик, палец.

– Упал с лошади, – сказал он Мышецкому чисто по-русски.

– Вы знакомы? – кивнул Бертенсон. – Князь Мышецкий, губернатор Уренского края...

– Где-то и когда-то, – засмеялся Азис-бей. – Но я слышал, что окраинам России не везет: одного повесили, другого взорвали, а третий...

Доктор так потянул вывихнутый палец, что смуглый лоб атташе сразу залился от боли путом.

– Не лезьте куда не надо! – грубо заметил Бертенсон.

Сергей Яковлевич взял в руки визитку Жеребцова.

– Я все-таки пойду, – сказал. – Неудобно...

Жеребцов при появлении князя почтительно привстал:

– Вы столь любезны, князь, весьма вам благодарен...

– Я к вашим услугам, сударь.

– Видите ли, князь, – начал Жеребцов глубокомысленно, – я и моя жена, урожденная княжна Кейкуатова, решили провести остаток дней на лоне природы – в Уренской губернии.

– Имение у вас – родовое или благоприобретенное?

– Благоприобретенное, – ответил Жеребцов, и Мышецкий подумал: «Благоуворованное...» – Состоит же оно в Запереченском уезде, и вот... Я и моя жена, урожденная княжна Кейкуатова, решили, так сказать...

– Простите, – обрезал Мышецкий, – что вас интересует?

– Да разное, князь... Вот, например, и мужики! Ныне они что-то суетятся. Так вы, милейший князь, как губернатор, не подскажете ли нам – не опасно ли ныне забираться в глушь?

– Пока я находился в губернии, – ответил Сергей Яковлевич с раздражением, – волнения ограничивались только городом. А отсюда, из Петербурга, я не могу поручиться вам за уезды!

– Э-э-э, – проблеял Жеребцов, – еще один пункт, и останусь вам признателен... Скоро и дворянские выборы! Слышал я, что губернский предводитель Атрыганьев не совсем соответ-

ствует. А я, как человек послуживший, чиновник еще «старого шлагу»... Да и жена опять-таки урожденная княжна Кейкуатова!

– Извините, господин Жеребцов, – обозлился Мышецкий, – но мое положение отныне таково, что я навряд ли вернусь к своим обязанностям уренского губернатора. Желая доброго пути – вам и особенно вашей супруге, урожденной княжне Кейкуатовой!

С тем он этого дурака и оставил. Вернулся за свой стол.

Бертенсон взял с него слово, что князь обязательно навестит его в Мариенгофе, где доктор собирался встретить золотую осень. И, откланявшись Мышецкому, напомнил:

– Вы можете судить меня вкривь и вкось, но я все-таки советую вам, как другу, посетить князя Владимира Петровича в его дыре. Иначе, боюсь, эта котлета-фри будет вашей последней котлетой в жизни, которую вам подали как камер-юнкеру его императорского величества... Итак, до встречи в Мариенгофе!

\*\*\*

Теперь осталось лишь разобраться с Вале́й Долгору́ким, столь явно увильнувшим от встречи... Валя – дальняя родня по матери, десятая вода на киселе. Но еще не так давно родством на Руси дорожили, имея привычку всех называть «кузенами». Пути Мышецкого и Долгорукого были разные: оба из обедневших Рюриковичей, но Валя еще ребенком был взят в Зимний дворец, чтобы играть с малолетним наследником, и вот теперь они выросли: наследник стал царем, а Валя – лейтенант флота (и друг царя). Сергей же Яковлевич – иная статья: правовед, что-то пишет, что-то считает, от двора далек.

Небрежение Вали было непростительно, и Мышецкий распахнул двери в дипломатический зал.

– Валя! – резко позвал он друга. – Я тебя жду...

Лейтенант вышел к нему. Сели. Помолчали.

– Тебе не стыдно? – спросил Мышецкий. – Это же свинство, Валя, в детстве ты дружил не только с Ники, но и со мною тоже... Наконец, наши родители...

– Да оставь, Сережа, – смутился Валя. – У тебя нелады, я понимаю, как это надоедно, и решил просто не мешать тебе. А ты меня позвал – и спасибо! Рад тебя видеть.

Сергей Яковлевич не знал, как начать разговор о главном.

– Ты по-прежнему при его величестве? – спросил.

– Да. Ники плох. Мне трудно. Его рвут в семье – мать и Аниса. Сенат тянет туда, Витте – сюда... А я устал.

– Устал... за царя? – улыбнулся Мышецкий.

– Знаешь, Сережа, – огляделся Долгорукий вокруг, – это ведь большое несчастье, что я связан этою дружбой...

Мышецкий выслушал Валины обиды и заговорил о своем:

– Ты должен помочь мне. Я напишу его величеству подробное изъяснение своих поступков, а ты, Валя, передай...

– Нет, – тихо ответил Долгорукий. – Я этого не сделаю. Царя нельзя тревожить. У него нет свободной минуты.

– Но у него есть же время на то, чтобы быть царем!

– Сережа! – вспыхнул Долгорукий. – Не надо следовать дурным примерам. Ты говоришь «царь», как о простом чиновнике. А ведь цари все-таки – это... цари!

Сергей Яковлевич долго крутил в пальцах вилку.

– Послушай, Валя (и ковырнул недоеденную котлетку), вот Бертенсон советует мне идти в Гродненский тупик. Но я нахожу приличнее обращение дворянина непосредственно к монарху!

– А может, Бертенсон и прав? – ответил Валя. – Если турки, вроде нашего Азис-бея, ходят на поклон к евноху своего султана, то – улыбнулся Валя, – навести и ты... князя Владимира Мещерского. Не первый ты будешь и не последний!

– Ты спешишь? – спросил его Мышецкий, сосредоточенный.

– Не очень, – ответил Валя, торопясь.

– Ну, ладно. Ступай. Дитятко...

Бертенсон, оказывается, глядел как в воду. Вскоре князя оповестили об исключении его из придворных списков. Доступ к царю отныне для Сергея Яковлевича был закрыт. «А жаль... Последняя возможность исправить карьеру и вернуться в Уренск! Что делать?.. Бежать бы...»

– Маэстро, – позвал Мышецкий лакея, – распорядитесь о скорой продаже мебели, кареты и прочего.

– Рази?

– Вот вам и «рази»! Я продаю дом – мне нужны деньги, чтобы уехать подальше от великороссийского свинства... Я изнемог!

– Рази?..

### 3

Был уже такой случай. Однажды. Еще там. Далеко.

Когда нужно было спасти голодную губернию!

И он ударил челом Конкордии Ивановне. И – ничего: не сломался, выжил, выиграл. А теперь? Не о мужиках – о самом себе надо подумать... «Ну дом-то я продам. Дом хороший, таких теперь не строят, его купят наверняка... А – дальше?»

Дальше?.. Так вот он, Гродненский тупик.

– Тпррру-у...

Вылезай, князь, приехали!

\*\*\*

Да, в этом доме немало перебивало народу. Не было, пожалуй, министра в России, которого бы миновала чаша сия, наполненная скверной. Хаживал сюда и Зубатов, духовный отец Витьки Штромберга! Издатель газеты «Гражданин», князь Владимир Петрович Мещерский, чинов себе не искал – только влияния. И знал, чем можно угодить царям: ярым консерватизмом! Что и делал. Делал непрестанно и неуклонно.

Шумели над Россией грозы, облетали листья и жевали козы с досок заборов обветшалые указы. Много было перемен, колебались весы России и так и эдак. Только князь Мещерский оставался неизменным. Если бы не история с тем красивым трубачом, которого высекли, далеко бы пошел князь Мещерский! И тираж его подленького «Гражданина» куда бы как выше был! Однако не вышло. Погорячился он тогда, да и трубач болтуном оказался...

Поднимаясь по лестнице, Сергей Яковлевич нос к носу столкнулся с господином, который старательно желал быть неузнанным. Однако (шалишь!) Сергей Яковлевич узнал: это был Александр Булыгин, давний коллега Зубатова и помощник московского генерал-губернатора. А на дверях квартиры издателя висела заманчивая табличка: «Добро пожаловать». Сергей Яковлевич дернул за сонетку звонка, и дверь открылась сразу, будто князя давно ждали. Из глубины темной квартиры послышался голос, перебиваемый хрипотцой:

– Кто бы ни был – прими! Слышишь, милочка?

Молодой человек, открывший Мышецкому двери, был удивительно ловок. Он так мгновенно разоблачил князя от верхней одежды, словно всю жизнь только и промышлял уличным разбоем. И, потирая руки, пропустил Мышецкого внутрь мрачной квартиры:

– Пожалуйста... Вы нас случайно не узнаете?

– Извините, не могу припомнить...

– Манусевич, или Мануйлов! А я вас, князь, очень хорошо помню.

– Откуда? – удивился Сергей Яковлевич.

– Извините и вы! Мы своих профессиональных тайн не выдаем.

Из простенка между книжных шкафов выступила на свет божий обрюзгая, но грозная и маститая фигура издателя «Гражданина».

– Правовед? – сказал Мещерский, шелкнув пальцем по груди гостя, где блистал значок. – Прошу, князь!

Мышецкий покорно следовал за хозяином, который нес на своих плечах серый старушечий пледик. Шли мимо комнат, где лежали громадные альбомы с портретами казаков лейб-гвардии, мимо корректорской, где валялись свежие гранки, мимо статуи Аполлона и многочисленных мужских экорше, развешанных по стенам...

– Садитесь, – пригласил хозяин. – И снимите, пожалуйста, пенсне... Терпеть не могу этих новомодных выдумок!

Сергей Яковлевич машинально, повинаясь окрику, стянул с переносицы пенсне, и Владимир Петрович спросил его:

– Вы меня видите?

– Вполне.

– А тогда, пардон, зачем же вам эти стекла?..

Во всем облике князя Мещерского было что-то удивительно плоское. Как у старого высохшего цветка, что со времен Екатерины II лежит среди страниц древнего тома, передаваемого в роду по наследству с завещанием – цветка не изымать!

– Мне, как внуку Карамзина... – начал Мещерский, и Сергей Яковлевич, невольно улыбувшись, сразу же вспомнил ходкую эпиграмму, написанную покойным поэтом Минаевым:

«Я внук Карамзина!» —  
Изрек в исходе года  
Мещерский. – «Вот-те на!  
.....  
При чем же здесь порода?  
И в наши времена —  
В семье не без уroda...»

Хозяин дома пристально посмотрел на своего гостя. И вдруг сказал – проникновенно:

– А безнравственный, доложу я вам, был человек!

– О ком вы? – растерялся Мышецкий.

– Да о Минаеве... спился! Вы о нем ведь подумали?

Сергей Яковлевич не знал, куда деться: «Провидец, да и только!» С трудом овладев собою, показал на книжную мудрость:

– Вы заговорили о писателях? Вот, я вижу, стоят и ваши романы: «Один из наших Бисмарков», «Женщины петербургского большого света», «Граф Обезьянников»... Скажите, каково ваше авторское к ним отношение?

– Трагическое, – охотно ответил Мещерский. – Вы недаром вспомнили о Минаеве, а я недаром назвал его имя. Дело в том, что этот безнравственный пересмешик, как и негодяй Чернышевский, останется жить в памяти русского народа, а я – погибну! Сие печально, но так! И я объясню вам причину: я, внук Карамзина, есть консерватор по убеждениям. А глупое человечество так подло устроено, что лезет вперед и вперед, совсем забывая, что раньше было вовсе не так плохо, как принято ныне думать. Им, балбесам, хочется конституции, а мне желательно видеть «дней николаевских прекрасное начало»!

– Дней... александровских, – поправил его Сергей Яковлевич.

– Нет, – закрепил Мещерский, – я сказал точно: николаевских!

Мышецкий задумался: «Кого он имел в виду? Николая Первого или... нынешнего? В любом случае начало было ужасно: пять повешенных декабристов или Ходынка с трупами...»

Тут старый писатель сбросил пледик и, охнув, встал.

– Смотрите! – показал он. – Я не убираю со стола письма моих дорогих монархов. Они благодарны мне за многие советы! Но тут же я держу и письмо недоносков, Стаховича и графа Гейдена, которые в наглости своей – непревзойденной, князь! – отказались чествовать мой юбилей... Этим сволочам, видите ли, не понравилось, что я считаю розгу благодетельной для великой русской нации! А это ведь – так! Больно мне, юноша, и обидно. Ведь не конъюнктурные же соображения руководили мною, когда я проповедовал благодетельные розги! Нет! Это был крик души патриота, замученного всероссийским хаосом...

Владимир Петрович вдруг взял Мышецкого, и без того ошалевшего, за локоть, вытащил его из кресла, велел:

- Встаньте, князь, встаньте...
- Куда встать? – не понял Мышецкий.
- Ах, боже ты мой! На колени, конечно...

Сбитый с толку, Сергей Яковлевич опустил на колени, а напротив него, тоже коленопреклоненно, встал на пол издатель и романист, друг многих монархов. И тогда, глядя в глаза молодому князю, сказал старый князь – ровно и глухо, утробно:

– Запомните: что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое!» Но это было уже в веках, бывших прежде нас. И нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после...

«Аминь!» После чего оба отряхивали брюки, а Мышецкий думал: «Неужели этот человек не устал жить и издеваться над этой жизнью?» А с губ старого распутника сорвался острый смешок.

– Нет, я не устал жить, – ответил он. – А вы, князь?

– Да, я подумал об этом. – Мышецкий даже не был удивлен, что писатель читает сейчас его мысли.

– Вот видите! – оживился романист. – Как можно устать от жизни, в которой я, как святой, даже угадываю чужие помыслы? И, например, я вижу, князь, что вы все время выбираете момент, дабы вклинить в наш разговор свою просьбу... Осведомлен достаточно: у вас нелады с сенатом?

«Зачем я, дурак, пришел», – подумал Мышецкий уже боясь думать, и вдруг вывернулся весь наизнанку:

- Общество осудит меня за этот визит к вам!
- Охотно верю, – спокойно согласился Мещерский.
- О вас говорят, что вы...
- Ну, милый мой, к чему такие подробности? Если у вас есть дело, касаемо меня, то говорите смелее...

– И я, – отчаянно продолжал Мышецкий, – пришел к вам не как к другу монархов и человеку больших светских связей. Я пришел, как к издателю! Мое положение экс-губернатора обязывает меня искать способы для оправдания пред обществом.

Пафос речи Мышецкого перехлестнул ложь ее, и случилось небывалое: «гражданина» удалось обмануть, – Мещерский поверил в искренность гостя. Поверил, но...

– Но в основе вашего желания, – сказал он, – лежит глубоко порочная мысль. А именно: не перед обществом, князь, вы должны оправдывать свои поступки. Ибо общество и не стоит того! Монарх поднял вас до служения ему. Монарх и низринул! И вот его-то вы и обязаны умолять о прощении...

Без стука вошел Мануйлов с какой-то бумагой в руке и нагло сел на диванчик. Сергей Яковлевич вспоминал, откуда ему знаком этот пухлый и вертлявый господинчик.

– Милочка, – сказал он Мещерский, – ну-ка, выйди...

И «милочка», подхватив свою бумажку, выкатился.

– Я несколько шире, – начал Мышецкий, – понимаю русское общество. Оно – многообъемно и заслуживает уважения хотя бы по тем ярким представителям, которых русская жизнь и выдвинула! И обращаться к массам мне вовсе не стыдно...

В ответ на эту тираду Мещерский долго звонил в колокольчик, пока не появился мрачный, как и все в этом доме, лакей.

– Вы меня звали, ваше сиятельство? (басом)

Романист аккуратно поставил колокольчик на стол:

– Приснилось тебе? Ступай вон, идиот... – А потом, когда лакей удалился, Мещерский спросил: – Вы заметили, какая у него харя? Вот вам, князь, представитель нашей обществен-

ности, к которой вы и желаете обратиться... Пусть пройдет еще тысяча поколений, но я не верю, чтобы из потомков моего Митрофана вылупились будущие Аристотели и Гиппократы!

Снова с бумажкой в руках вошел без спроса Мануйлов; свет из-под абажура упал ему на лицо как-то сбоку, оттенив профиль, и Сергей Яковлевич вдруг вспомнил... Да, да! Мануйлов встречался ему в Париже, где служил по надзору за русскими политэмигрантами.

– Что у тебя, милочка? – спросил Мещерский.

– Вот, желательно бы иметь подпись князя Мышецкого...

Сергей Яковлевич протянул руку за бумажкой. Это было командировочное удостоверение от министерства финансов, хорошо оплачиваемое. Очередной «трубач» князя Мещерского должен был ехать в Уренск, чтобы вынюхать что-то. Сергей Яковлевич сразу сообразил, в чем тут дело: никуда не выезжая из Петербурга, но числясь отбывшим в Уренск, конечно, приятно получить с бухты-барахты полторы тысячи прогонных... И пусть романист не делает отвлеченный вид, – мол, это не его дело! Мышецкий уже раскусил секрет: подпиши, а мы поможем...

Только напрасно «милочка» совал Сергею Яковлевичу перо! он еще не дошел до той степени падения, чтобы оформлять бумаги для обогащения nepотребников. Даже подпись Витте, уже проставленная, не убедила князя, и он решительно встал:

– Извините, господа. Задним числом я бумаг не подписываю.

Поднялся из кресел и старый романист, сказал:

– Извините и вы нас, князь. Рады бы помочь вашим бедам, но сами видите: бедный издатель бедного «Гражданина»!..

Сергей Яковлевич еще долго стоял на лестнице, не понимая, зачем он сюда приходил и что выгадал. Но противная жаба была уже съедена им. Только сейчас он заметил, что под надписью «Добро пожаловать» было приписано от руки: «Осторожно, злая собака!» А Булыгин попался князю, видать, неспроста. Говорят, что Мещерский сейчас копает под Святополк-Мирского – пошире и поглубже, так что встреча с Булыгиным дала Мышецкому повод для догадок и размышлений.

Он пытался обобщать...

## 4

Ну, куда-то надо ехать. Не сидеть же дома, когда уже стулья начинают из-под тебя выдергивать. Ходили оценщики, прыгали по дубовым паркетам, простукивали стены, заглядывали в глубокие дымоходы. Кажется, с продажей дома не затянется... Купят!

В один из дней, когда осенне похолодало, Сергей Яковлевич выехал в Терпигорье – волшебный край, под боком столицы, о котором так мало знали петербуржцы. Поезд, пыхтя, дотащился до уездного захолустья – Ямбурга, и нищета ударила прямо в нос тем особым разгульным пошибом, когда человеку уже терять нечего. Румяные молодухи на станции зазывали на «чай с лимоном», а фартовые парни в цветных жилетках заламывали картузы лихо:

– Коли желаете, сударь, культурно время провести, так это мы сами горазд бойкие! И обхождение тонкое понимаем. Будете сладкую водочку из рюмочки пить да колбаску вилочкой тыкать...

Спустился к пристани. И потекли навстречу высокие песчаные берега Терпигорья; перед ликом мудрой, вечной и доброй природы мелкими казались князю все его дрязги – суета сует, и не больше! Плывая по реке, он решил почаще вспоминать надпись, которая была начертана на кольце у царя Соломона: «И это пройдет...» Но вот выплеснула волна из-под борта катера и затихла. А из-за плеса вдруг мягко заполонило глаза видение прошлого, словно с берега ему показали картину Сомова или Борисова-Мусатова.

Над тихой заводью Луги неслышно и загадочно притаился Мариенгоф: каменный особняк в один этаж, весь в гущах буйной зелени. И робко отражалось в водах реки это сказочное видение осмнадцатого века...

Мышецкий выбрался на берег, долго вспоминал имя хозяина – Дмитрий Модестович? Да, кажется, так. А дочь его зовут Серафимой... О семействе Резвых, потомственных артиллеристах русской армии, знал Сергей Яковлевич только одно: питерский купец Балкашин однажды столь резво сплясал перед Елизаветой Петровной, что императрица сказала:

– Ну и горазд плясать! Резвѳй ты, как я погляжу...

Так и появились на Руси дворяне Резвѳе.

\*\*\*

Столетние вязы, посаженные еще при шведах, гляделись в широкие старинные окна. Гостя встретил хозяин, генерал-майор Дмитрий Модестович Резвѳ с костылем в руке, – хромота, болела старая рана. Сказал со всей любезностью барина:

– Василий Бернгардович не приехал, связанный службой. Но мы благодарны ему за возможность приятного знакомства с вами, князь. Просим быть не гостем, а нашим дорогим другом... Сима! – позвал Резвѳ дочь. – Проводи Сергея Яковлевича по комнатам и перестань брэнчать на фонолах – ты разбудишь Алексея Александровича!

Мышецкий в сопровождении юной хозяйки прошел по дому, как по музею. Уж если стояла возле камина кочерга, так эта кочерга была истинным произведением искусства! В красной гостиной висели портреты предков – кисти чуть ли не Рокотова, а Левицкий был явный. А печка – бог ты мой! – возле такой печки стыдно греться: ею надобно любоваться лишь издали.

Симочка Резвѳя поманила его розовым пальчиком:

– Князь, загляните сюда! – И открыла дверь в тесную боковушку, где стоял кустарный станок, похожий на печатный. – Здесь, – сказала девушка, – мой дед выпускал первые литографии в России. Мы, Резвѳе, никогда не лезли в губернаторы и все свободное время посвящали искусствам...

– Сима, Сима! – послышалось за спиной. – Что ты болтаешь? Сергей Яковлевич, наш дорогой гость, как раз губернатор.

– Извините меня, князь, – вспыхнула девушка от смущения.

И это было так наивно и так прелестно, что Сергей Яковлевич нагнулся и порывисто поцеловал ей руку.

– Завидую, – сказал. – Завидую и мучусь...

– Оставь нас, Сима, – велел генерал, беря гостя за локоть. – Я хочу, князь, чтобы вы почували привкус старины, помноженной на природу и искусство. Ступайте за мной. Закройте глаза, доверьтесь мне... Сядьте! А теперь откройте глаза...

Это была «зверописная» – комната, наполненная зеленоватым сиянием дня, пронизанным через ветви деревьев. Над старинными комодами с ароматом провинции века Петра I висели древние ружья, а вдоль стен – картины. Дичь живая и битая, перепела и фазаны, разбросанные посреди старых ягдташей; оскаленные пасти убитых волков. В матовом блеске хрустали и винных кубков покоились злые нахмуренные омары да источала свой морской холод раскрытая устрица...

– Ван дер Боргле, подарок Майкова! – перечислял хозяин, постукивая костью. – А это Верникс, подарок Пушкина. Фалькенбург – чудесен, Габриэль Романо, Ян Фейте...

– Я профан, и знаком мне здесь только один Гроот... – Мышецкий невольно всплеснул руками, восхищенный. – В такой глуши – и такие чудеса! Не бойтесь, что мужики спялят все это?

Резвóй болезненно улыбнулся:

– Очень жаль, если пожар революции коснется таких русских жемчужин, как Останкино, Зубриловка, Стольное, Кусково... Но еще печальнее, ежели будут осквернены такие гнезда, как наш Мариенгоф! Ведь их так много на Руси, и никакие Эрмитажи не идут в сравнение с галереями мелкопоместных сокровищ. В них особая прелесть России... Но я, – заключил генерал, – не боюсь революции, ибо я никогда не был крепостником. Нужна мужику земля – пусть берет. Это же я ему не отдам! Никогда!..

Со стороны тихой Солки, что струилась под окнами дома, послышались голоса и смех. Резвóй пригласил Мышецкого на крыльцо. Гости были незнакомы князю. Они еще издали так шумели и хохотали, что Дмитрий Модестович пригрозил им:

– Тише, господа, вы разбудите Алексея Александровича...

Выдвинулся элегантный старик с холодным лицом римского прокуратора, какие чеканились на древних монетах:

– Мусселиус, местный помещик... Максимилиан Робертович!

– Плавников, – кажется, так расслышал Сергей Яковлевич фамилию другого господина: ничем не примечательного, и поклонился красивой итальянке с католическим распятием поверх темного платья. А вот и ее супруг:

– Коллежский ассессор Адам Викторович Колбасьев...

Женщина смело взяла князя под руку, и он провел ее в дом.

– Что это такое? – капризно сказала Колбасьева. – Пора бы уж Алексею Александровичу и проснуться!

Кто был этот соня, которого все боялись потревожить, Сергей Яковлевич так и не удосужился спросить, тем более что гости Мариенгофа сразу вовлекли его в разговор. Начался он, как и следовало ожидать, с обсуждения последних новостей.

– Меня как правоведа, – признался Мышецкий, – волнует сейчас отношение свыше к сорокалетнему юбилею судебной реформы! Как бы ее ни исказили последующие стихии перемен, но нельзя отрицать ее благородное значение в русской истории.

Он почти влюбленно смотрел на прекрасную итальянку, Эмилию Колбасьеву, но женщина не менее влюбленно взирала на своего тишайшего супруга, и тот, словно подзадоренный лучистым взором жены, тихо сказал:

– Мне думается, князь, что правоведа, независимо от отношения правительства, напьются на юбилее как следует...

– Bravo! – захолопала в ладоши Симочка Резвбя и снова получила упрек от своего папеньки:

– Как тебе не стыдно? Сергей Яковлевич как раз и есть кандидат императорского правоведения.

– Ой, ой! Я снова провинилась, – сказала девушка, и Мышецкий опять поцеловал ей руку.

– Наказуйте меня и далее, – попросил он трогательно...

Мусселиус красивым жестом выбросил вперед руку:

– Дайте же, господи, сказать Адаму Викторовичу!

Но Колбасьев не был расположен к разговору.

– Вот, – намекнул только, – что покажет земский съезд в Москве? Наверняка же там есть светлые головы...

– Ах! – резко, с явным огорчением отмахнулся старик Мусселиус. – Я, господи, не верю в чистосердечность наших доморощенных либералов. Один гудок Путиловского завода мне представляется более энергичным возгласом времени, нежели сто резолюций наших либералов!

– Вы не совсем правы, – возразил Мышецкий, остерегаясь обидеть человека, старшего по возрасту. – Мне думается, напротив, земский съезд способен выдвинуть такие фигуры демократов, как Муромцев, Набоков, князь Сергей Трубецкой...

Симочке, кажется, нравился рослый и молодой гость.

– Абсолютно согласна с князем, – поддержала она Мышецкого. – Сейчас любой камер-юнкер болтает не хуже специалиста, а...

Тут генерал-майор Резвбй с грохотом уронил костыль.

– Сима-а! – простонал он в ужасе. – Что ты говоришь? Ведь Сергей Яковлевич как раз и есть камер-юнкер!

Третий промах был неисправим: девушка закрыла лицо руками и убежала, впопыхах даже не извинившись. Тогда Мышецкий поднялся, с удовольствием заключив:

– Напрасно Серафима Дмитриевна упорхнула от нас: я уже не камер-юнкер...

Мусселиус крепким пальцем стукнул его по плечу.

– Продолжу, – сказал напористо. – Вы, князь, может, и пойдете следом за земским съездом, ибо другой силы не знаете. Но мы, семейство Мусселиусов, по традиции варимся в цехах Путиловского завода. Весь рост русского пролетария прошел у нас перед глазами, чередуясь в поколениях. И мы знаем, откуда придет то, чего мы не ждем, или – наоборот – мы ждем, но нас там не ждут! И когда возмездие придет, дворянству будет не укрыться за романы графа Льва Толстого, оправданием не смогут послужить и гениальные симфонии дворянина Чайковского... Увы, но так!

Дмитрий Модестович покрутил набалдашник костыля:

– Пророк! А вы, любезная Эмилия Петровна, случись революция, не сбежите от нас обратно на остров Мальта?

«Ах, вот она откуда... с Мальты!» – подумал Мышецкий.

– Нет, – рассмеялась красавица, глянув на своего скромного мужа, – я слишком полюбила Россию...

Мусселиус деловито справился у князя Мышецкого:

– Сознайтесь, за что вас лишили камер-юнкерства?

– Только честно! – крикнула итальянка.

– Очевидно, господа, только за то, что я был неважным, с точки зрения министерства, губернатором.

– А за что вас сделали губернатором? – с хитрецей, немного кокетничая, снова спросила Колбасьева.

– Ну, сударыня! Это же и так ясно: за то, что слишком хорошо знал законы Российской империи. Только так, сударыня...

Вошла Симочка Резвья и торжественно объявила:

– Алексей Александрович проснулся, господа!

По лестнице, с антресолей, медленно спускался человек средних лет, с нездоровым желтым лицом.

– Сколько можно спать, сурок вы несчастный? – воскликнула Эмилия Петровна.

Мужчина задержал на лестнице шаги, ответил спокойно:

– Чем больше спишь, сударыня, тем меньше ощущаешь всю подлость нашего дорогого всероссийского свинства...

Это был грозный Лопухин – директор департамента полиции Российской империи...

Гостей пригласили к столу, накрытому просто – по-деревенски: творог, овощи, жирное и обильное жаркое. Между тарелок была разложена отцветающая по осени зелень. Вина не подавали.

Лопухин с вожделием осмотрел закуски.

– Я как волк... – сказал он, алчно потирая руки.

– Странно! – рассмеялась Колбасьева. – Вы же спали, за что вас кормить, бездельника?

– А нам чем изволили трудиться вы, сударыня?

– Мы... даже купались. И слушали князя с интересом!

Лопухин стрельнул в Мышецкого острым взором старого мудрого беркута. Даже не мигнул ни разу.

– Я думаю, – сказал он со значением, – сейчас князю Мышецкому только и рассказывать интересное...

Стали обедать. Но политика, но близость революции, ощутимой всеми порами, но эта чудовищная болтливость, которая разрывает русского человека, словно пивная бурда дубовую бочку, – все это мешало людям мирно наслаждаться здоровой едой.

Плавников, до поры молчавший, начал:

– Я не понимаю нашего правительства...

– Я его всегда не понимал, – буркнул Мусселиус.

– Возьмем хотя бы министерство внутренних дел...

– Не к столу будь сказано, – добавил Мусселиус, и все дружно захохотали – все, кроме Лопухина.

– Господа! – разволновался Плавников. – А пример Пруссии? Вы посмотрите, как умело обуздал Бисмарк всех этих губошлепов-социалистов. Зато немец – мое почтение – не бунтарь!

– Ну, – заметил Резвья, двигая костылем под столом, – на маневрах в Потсдаме я убедился: немец любит быть подчиненным. И верхушка Пруссии постоянно опиралась в своих планах именно на это несгибаемое качество своих подданных. Вот если бы и наши головотяпы сумели нащупать в русском народе главное отличительное свойство! Как было бы хорошо, господа...

Сергей Яковлевич глянул на Лопухина: директор департамента полиции мазал хлеб маслом столь густо, будто никогда в жизни масла не ел.

– А такое свойство есть, – подсказал Мышецкий, привлекая к себе внимание. – И характер русской нации выступает наружу более выпукло и гораздо решительнее, чем у немца!

– О, это знаменитое русское долготерпение, – намекнула Симочка Резвья. – Вы об этом хотели сказать, князь!

– Не только, – продолжал Мышецкий, невольно радуясь и обществу, и тому, что речь его течет плавно. – Основные качества России таковы, господа: энергия почти американская, смекалка острого ума и предприимчивость пионеров! Но все это задавлено у нас сверху и хранится до поры под спудом... Нам необходимо обновление строя!

Плавников вдруг неприлично фыркнул (странный господин!):

– А вы, князь, попали к нам через Гатчину или Лугу?

– Через Гатчину, коли водой, – ответил за князя Резвóй.

– А тогда, – подхватил Плавников настырно, – вы имели возможность наблюдать в Ямбурге всю эту хваленую русскую широту и энергию. Они готовы продать своих жен и дочерей, только бы не работать, а бездельничать. И правы те социологи, которые говорят, что русский человек – подл, вороват, склонен к безделью и пьянству. Мы – азиаты, князь!

– Азиаты – да, – ответил Резвуй. – Но колыбель наша всегда была в Европе. Пятками – на Камчатке, лбом – на Висле!

Плавников обернулся к Лопухину – в чаянии поддержки, но директор департамента полиции с удовольствием жевал петрушку, и кончик травы торчал у него изо рта, как у задумчивой коровы.

– Ой, как вы не правы! – сказала Симочка Плавникову.

– Судить о народе можно двояко, – снова вошел в разговор Мышецкий. – Увидев пьяного мужика в канаве, нельзя делать вывод, что русский народ спивается. Не обнаружив кошелька в кармане, грешно и стыдно, сударь, называть весь народ вором!

– Разве не правда? – воскликнула Симочка.

– А что вы в майонез кладете? – спросил ее Лопухин.

Мусселиус крепко, как актер, снимающий с лица ненужный грим, вытер красное лицо салфеткой.

– Крамола, – сочно выговорил он. – Не в народе крамола, а в самом правительстве! Послушать наших «столпов» о народе, так будто глухонемые решили музыку обсудить... Алексей Александрович, разве это не так?

– У глухонемых, Максимилиан Робертович, – ответил Лопухин, дожевывая, – своя азбука. Свой мир. Свои настроения... А что еще? – Лопухин встал и почтительно раскланялся: – Дмитрий Модестович и вы, очаровательная Симочка, все было вкусно и бесподобно... Благодарю! И вас, господа, благодарю также за весьма интересную беседу...

\*\*\*

Вечером заволокло лесные дали, смутно брезжила в потемках река, бронзовый лист неслышно падал и падал. А под ногами – так хорошо: шурх-шурх. Тишина... медленное омертвление природы, готовой уже закаменеть на зиму в хрустких утренниках.

«Шурх-шурх-шурх», – это подошел к князю Лопухин.

– Сергей Яковлевич, расскажите, что у вас там случилось?

Мышецкий вкратце (факты, факты!) поведал свою историю.

– Ну, я так и думал, – сказал Лопухин. – Наших в сенате уже ничем не удивишь. И всего они боятся, как китайцы боятся своих родителей. До ужаса!.. «Наказана ты, Русь, всесильным роком, как некогда священный Валаам: заграждены уста твоим пророкам, а слово вольное дано твоим ослам!»

– Чье это? – спросил Мышецкий, удивляясь.

Лопухин пожал плечами: мол, не все ли равно!

– Зачем вы, князь, ходили к Мещерскому? – строго спросил он. – Неужто вам не жаль своей чести?

– Очевидно, я слабый человек, – потупился Сергей Яковлевич. – Кем я вернулся из Уренска? Меня обобрали безжалостно – до нитки! Даже плюговое мое камер-юнкерство и то не пожелали оставить при мне... Наконец, я потерял и жену!

Лопухин поднял красивый лист клена, с хрустом растер его нервными сухими ладонями. Сказал:

– Я ведь считал вас умным человеком, князь. А вы, словно нищий с писаной торбой, гоняетесь за погремушками... Ваше имя отчасти известно в мире статистики. Угодно, и я устрою вас в любую губернию по специальности. Благородно и почтенно!

И горько усмехнулся в ответ князь Мышецкий.

– В наше время, – сказал, – трудно заниматься статистикой. Ибо выводы цифр безжалостны! Они приводят к результату государственной катастрофы. Именно в цифрах наиболее ощутимо выступает угроза краха... Я сужу об этом по работам Ульянова-Ленина, недаром он и уделяет столько внимания статистике!

– Ну, хорошо, – согласился Лопухин, подумав. – Стригите баранов. Запишитесь корнетом в полк. Варите сахар из свеклы. Наконец, передергивайте карту, но... будьте разумнее!

– Необходимо же мне оправдаться, – проговорил Мышецкий.

И директор департамента полиции замер.

– Перед... кем? – спросил.

– Перед обществом.

– Так вам и дали! – с поклоном ответил Лопухин. – Неужели вам еще не ясно, что вы, пусть небольшая, но все-таки фигура в империи. Маленький Зевс-громовержец! Обвинение вас, как и ваше оправдание, не должно выходить за пределы вашего же класса... Поняли? И я, – добавил Лопухин, – по долгу службы своей, не дам вам, князь, вырваться из этого класса и его условий. Называйте это как угодно – узостью, кастой... Но империя на этом держится!

Долго шагали молча, потом Мышецкий сказал:

– Да! Мусселиусу можно позавидовать. В его варяжской душе нет места компромиссам. Он выплывает, как викинг, на самый гребень – и не страшится. А мы, столбовые, слишком раскидали свои корни по разным условностям: там мнение света, там чины, там родня, там казенные дрова... Освободиться трудно!

– Я вас хорошо понимаю, – добавил Лопухин. – И верю.

– Простите, Алексей Александрович, но я как-то не могу уяснить вашей точки зрения.

– Точки зрения... на что?

– Хотя бы – на меня.

– На вас? – усмехнулся Лопухин. – Но у меня нет на вас, князь, никакой точки зрения. Я просто вижу человека, вполне добропорядочного, достаточно честного, и мне хочется, чтобы он – в поисках истины – не исподличался... Все!

– Но мне все же необходима реабилитация, – сказал князь.

– А тогда – вопрос! – продолжил Лопухин. – При полной невозможности оправдания вашего перед обществом остается реабилитация лишь перед такими столпами, как сенатор Мясоедов и негодяй Мещерский... Так вот вы и скажите мне, князь: так ли уж необходимо вам добиться милости у трясунов, прыгунов, скопцов, хлыстов и прочих сектантов нашего любезного правительства? Подумайте сами: а судьи кто?

К трюхлявой пристани Мариенгофа подали Лопухину катерок, и Мышецкий решил задать последний вопрос – очень важный:

– Алексей Александрович, мы все очень много говорим теперь о революции. Одни пугаются ее. Другие ждут, как манны небесной. Но... Ответьте: не есть ли все это экзальтация чувств и нервное переутомление нашей интеллигенции?

– А вы не верите в близость революции, князь!

– Да как-то не могу... представить.

Лопухин зябко сунул руки в отвислые карманы пальто:

– Послушайте, князь: ведь я всё-таки директор департамента полиции. И если я говорю, что скоро гром грянет, так вы, милейший, уж не подведите меня, пожалуйста. Прошу – пере-креститесь заранее!

Это была новость. Никто еще не говорил о революции так определенно. Точно. Вот-вот грянет – жди!

– Сергей Яковлевич, – сказал Лопухин на прощание, – верю, что вы истинно русский человек. А следовательно, адрес полиции найдете и без помощи дворника. Гороховая, два – известна всей мыслящей России! Итак, спокойной ночи, ни о чем больше не думайте, прода-вайте дом, а я вас – жду...

## 5

Кабинет Лопухина был тесен и скучен. Два стола складывались в форме буквы Т, и за одним из них сидел Алексей Александрович. Высокий воротник подпирает его жилистую, уже в морщинах, шею; широкий черный шнурок от пенсне бежал вдоль горбатого носа – прямо в кармашек жилета. Лопухин восседал под портретом Николая II, округленным в золотой багет; две электролампы (в жестяных казарменных абажурах) качались у него над головой. А на столе – на случай порчи электростанции – желтели толстые свечи. Два телефонных аппарата дребезжали прямо на подоконнике... Вот и все!

– У меня, – начал Лопухин, – совсем нет времени, и я буду краток. Наше законодательство в отношении супружеских споров совсем запутано новым уложением, и потому лучше всего решить это самолично. Без вмешательства юрисдикции... Дом продали?

– Пока нет. Продаю.

– Торопитесь. Деньги будут нужны. Я не имею никакого морального права подсказывать вам решение, но... Князь, вы же знаете: правовед должен помочь правоведу!

– Скажите, где сейчас может находиться моя жена?

Алексей Александрович ждал этого вопроса – глянул в казенный бланк, ответил четко:

– Отель «Ревуар» на острове Мадера... Однако еще в прошлую неделю господин Иконников, сопровождающий вашу почтенную супругу, приобрел сквозной транзит через Алжир... А куда? Сейчас посмотрим... в Марсель! На февраль месяц у них абонирован люкс на две персоны в гостинице «Буазен».

Лопухин откачнулся на спинку кресла, посмотрел в упор на сугорбого от страданий князя Мышецкого.

– Итак – Марсель! – сказал бесчувственно.

– Угу, – хмыкнул Мышецкий, чтобы не молчать.

– Можете делать, что угодно. Только не дуэлируйте! Это – старо, глупо и совсем неинтересно...

– Однако, – оживился Сергей Яковлевич, – меня могут и не выпустить за границу. Сенат... суд... решение!

– Ах, дорогой Сергей Яковлевич! Когда на груди России зреет и вот-вот прорвется здоровенный веред, то вы – только маленький волосок, что неслышно осыпался с громадного больного тела. Езжайте, и никто не спросит: а куда же делся князь Мышецкий? – Лопухин громко прищелкнул пальцами. – Хочу предупредить вас, что в Марселе вы можете – случайно, конечно, – встретиться с человеком, один вид которого вряд ли будет вам приятен...

– Вы имеете в виду... Иконникова? – спросил Мышецкий.

– Нет. Это само собой разумеется, что, встретив супругу, вы встретите и этого отменно обаятельного господина. Но в Марселе, как доносит агентура, сейчас лихо крутит некий лейтенант в отставке Виктор Штромберг...

– На те деньги, что украл у рабочих!

– Дураки рабочие, что давали, – сказал Лопухин. – Вообще на широкой груди покойного Плеве пригрелось немало негодяев: от и до... – понимаете, князь, сами... Ну, кажется, все. Сами видите, мы хлеба даром не едим, – улыбнулся Лопухин, – как думает о нас госпожа Колбасьева, и все знаем ничуть не хуже господина Мусселиуса!

– М-м-м... – неуверенно начал Мышецкий. – Я понимаю, что ваша доброта тоже не беспредельна. Но есть в Уренске один человек, судьба которого меня глубоко волнует. И я...

– Ах, этот? – сразил его Лопухин. – Некий Кобзев-Криштофович? Так вы не волнуйтесь: он уже умер, после вашего отъезда.

– Умер?

– Ну, князь! – громко засмеялся Лопухин. – Вы меня просто удивляете. Сажая чахоточного в клоповник, вы и не могли рассчитывать на иной исход.

– Извините, – поправился вдруг Сергей Яковлевич. – Спросить я хотел совсем о другом человеке. Который, несомненно, сыграл свою роль в судьбе моей и в судьбе самой губернии. Борисяк, Савва Кириллович! Был уренским санитарным инспектором...

Лопухин нажал кнопку звонка – вошел чиновник.

– Карточку, – велел Лопухин. – Как вы сказали, князь?

– Борисяк, – подсказал Мышецкий.

– Савва Кириллович, – четко повторил Лопухин.

– Незамедлительно, – ответил чиновник.

– Ну вот, князь, – продолжал Лопухин. – Вернемся к старому разговору об обществе. Вы и сами знаете: общественность России совсем не настроена сейчас так, чтобы отнести к заморению старика революционера, как к милой губернаторской шутке!

Чиновник полиции принес карточку надзора за Борисяком.

– Что такое? – удивился Лопухин, вчитываясь. – Ваш Борисяк подлежит арестованию, как деятель провинции от социал-демократов. Но отметки об аресте не имеется... Удрал, выходит? Так понимать?.. Бланк секретного сыска, – велел директор чиновнику. – Вот по этой карточке, будьте любезны!

Принесли. Лопухин вникнул.

– Никаких следов. Или умело спрятался. Или... или?..

Сергей Яковлевич не стал отпускать неуместных шуток об осведомленности полиции и с чувством пожал руку своего коллеги. Тоже правоведа. Дай бог всем правоведам и дальше дружить так же – согласно и разумно!

\*\*\*

Россия отмечала юбилей судебной реформы, и волна банкетов прокатилась по стране, затопив шампанским столицы и провинцию. Знаменитый магазинщик Елисеев, у которого, как известно, никогда и ничего не кончается, в эти дни заявил, что у него шампанское иссякло! Каждый раз, просыпаясь утром с похмелья, Сергей Яковлевич давал себе слово не пить сегодня, но первый же тост «За конституцию!» был таков, что грешно не выпить.

– Меня удивляет, – закатил он спич на очередном банкете, – почему в этот исторический момент, когда наша передовая общественность выходит из подполья на широкую арену народного реформаторства, почему же рабочий класс, так много выдвигающий требований, почему он ныне загадочно молчит? Да! Я вас спрашиваю – почему? Где же единство сил?

Толстяк Набоков потом отозвал князя в сторонку:

– Князь, а зачем вам это надобно? Смотрите, как бы нашу идеальную программу не закоптило дымом заводов!..

Уренские тяготы еще не схлынули с сердца князя. И тайны уренского депо разрешены еще не были. Мышецкому сказали, что в доме Павловой на Троицкой улице состоится встреча путиловцев с интеллигенцией. Сергей Яковлевич поехал туда, и один из рабочих сразу завел с князем разговор об «Истории культуры» Липперта. Но его сиятельство Липперта не читал.

– Напрасно, – упрекнул князя рабочий. – Вот и Каутский в своей «Эрфуртской программе» утверждает, что...

– Простите, а какой факультет вы окончили? – спросил князь.

– Филологический! – с треском провалился «рабочий».

Сергей Яковлевич посторонился такого «пролетария», и тут его подхватил под локоток, почти любовно, московский приятель, присяжный поверенный Муравьев:

– О чем вы, князь, беседовали с господином Малкиным?

– Пшют какой-то! – фыркнул Мышецкий.  
– Студент...  
– Но представился, как рабочий.  
– Верно: Малкин ведет кружок «экономистов» на Путиловском, бывает и у нас в Москве... А рабочих здесь вряд ли узрите!  
Директор гимназии Бенедиктов спяна обнимал князя.  
– Bravo, bravo! – говорил Бенедиктов. – Истинно-о! Весьма и весьма печально, что сейчас, когда мы, лучшие умы России...  
Мышецкий высвободился из пьяных объятий педагога.  
– Сударь! – сказал князь. – Я беседовал, кажется, с господином Муравьевым, только не с вами...  
– Но я все слышал!  
– А потому и говорю: нехорошо подслушивать чужие разговоры!  
Утром 28 ноября Мышецкого вызвали к телефону. Чей-то женский голос, совсем незнакомый, сказал ему фамильярно:  
– Дрюнечка, говорит с вами Зюзинька. Никуда не ходите сегодня, я сама приду к вам со своим Базилем...  
– Хулиганы! – оборвал разговор Мышецкий.  
Слово – новое, только что входившее в обиход русской жизни, но его все уже понимали.

\*\*\*

Именно в этот день ему надо было отлучиться из дому – в городскую думу, ибо вопрос касался продажи дома. На улицах было слякотно, мерзко, публика нахохлилась от сырого ветра. На бобровом воротнике княжеской шубы таял мокрый снег, стекла пенсне залепляло мутью.

Возле думы было что-то слишком оживленно, и Сергей Яковлевич в растерянности остановился. «Тьфу ты! – вспомнил он. – Ведь сегодня как раз воскресенье...» Значит, и в думе делать ему нечего. Напротив, на крыше здания, красовалась вывеска: «Перуин для рращения волос», – как раз то, что надо. Последнее время, он волнений жизни, стали отчаянно лезть волосы. Сергей Яковлевич направился к магазину.

Но тут с Перинной линии выбежала толпа студентов и веселых румяных курсисток. А из публики, заполнившей Невские тротуары, как раз на углу Михайловской, вдруг вырвалось что-то ярко-красное – знамя! «Ага, – решил князь, – кажется, началось».

Дабы не мешать событиям революции развиваться, Мышецкий немного посторонился. Еще раз протер стекла пенсне. Такой высокий момент истории надо запечатлеть в памяти.

– И – конституции! – провозгласил он одиноко.

Толпа шумно огибала угол Михайловской. Нестройно, вразброд, как-то печально звучала «Марсельеза». Сергей Яковлевич подхватил слова гимна (конечно же, по-французски, так оно величественнее!). И вдруг из ворот думы с гвалтом рванулась конная полусотня с нагайками и шашками наголо. Взгляд князя невольно отметил время: был полдень, половина первого.

Пересверк шашек казался издали нарядным праздником. Во влажном воздухе столицы мягко звучало лошадиное ржанье.

И так красиво металась тонконогие сытые кони...

Сунув в муфту озябшие руки, стояла рядом курсистка-бестужевка и, прикрыв ресницами глаза, словно молясь, выводила:

Не довольно ли вечного горя?  
Встанем, братья, повсюду мы в ряд...

Хрясь – стукнуло что-то рядом, и курсистки не стало. А перед самым носом князя Мышецкого крутился мокрый от талого снега лошадиный зад. Желтый лампас резанул зрение, словно сабля, проведенная по глазам.

Казак свесился с седла и поднял нагайку снова:

– А тоби, очкарик, тож слободы хочца? Чо залупаишьси? Чо?

Сергей Яковлевич в ярости вцепился в ногу казака.

– Дурак! Скотина! – кричал он в исступлении. – Да тебе и не снилась такая свобода, которой я обладаю!..

С противным щелканьем опустилась нагайка.

Боль – неслыханная боль! – обрушила его на землю рядом с курсисткой-бестужевкой. Разбитое пенсне тащилось за ним по мостовой на длинном шнурке. Он и сам не понимал – как, но уже шел. Вернее – его волокли. А кто – не видел.

На середину Невского сгоняли всех демонстрантов.

– Гниденко! – услышал князь за спиной. – Приобщи!

И (обида-то какая!) дали князю коленом под зад.

Вот так-то Мышецкий и «приобщился». Арестованных погнали куда-то. Шел и князь. А что делать? Пойдешь...

Снова возглас:

– Федорчук! И этого шептуна – приобщи!

Это был Бенедиктов, директор гимназии. Пошли в ногу, выражая протест словами. Семинаристы (которым эта история – хоть бы хны) затагнули песню – весьма бестолковую:

Сладко извергом быть  
и приятно забыть  
бо-ога-а!  
Но за это ждет  
непременно до-  
скверная до-рога-а!

Бенедиктов цеплялся за рукав княжеской шубы:

– Я уверен: это своеволие низших властей! Князь Святополк-Мирский – человек честных правил и новых веяний...

Арестованных загнали во двор Спасской части. Оцепления из дворников не снимали. Полицейский врач быстро отобрал раненых, и в толпе, стынущей под снегом, остались только избитые. Было зябко и стыдно. Конечно же, теперь потеряна всякая возможность исправить карьеру. А этот директор гимназии, словно репей худой, так и цепляется, так и виснет на рукаве.

– А-а, вы правовед? – говорил Бенедиктов. – Так научите, как, не нарушая законности, мне отсюда выбраться поскорее?

– Педагогично ли это будет, если вы убежите, а я останусь?

– Вы бы не смеялись, князь, – обиделся Бенедиктов, – если бы вам, как и мне, осталось два года до выхода на пенсию. И, наконец, я – директор гимназии! Что скажут мои ученики? Это аморально, чтобы воспитатель юношества находился под арестом!

– Да помолчите вы, – взмолился Сергей Яковлевич, с тоской оглядывая высокие кирпичные стены. – Не все ли равно, кому сидеть... Кому-то все равно сидеть надо!

Бенедиктов явно пытался расположить к себе толпу.

– Вам, князь, хорошо говорить! – петушился он. – Вы губернатор и сами сажали людей... И вот теперь, за ваши преступные репрессалии по отношению к простому народу, должны расплачиваться мы – честные русские либералы!

Студенты и семинаристы с удовольствием наблюдали за этой сценой, а Мышецкому было сильно не по себе.

– Уважаемый, – тихо сказал князь, – как вам не стыдно? С чего вы это взяли, что я сажал людей? Оставьте меня!

Через двор, возбужденные от полицейского рвения, борзыми гонялись чиновники. Легкой рысцой пробежал и Федя Щенятьев – тоже правоведа, но, по склонности к горячительным напиткам, курса не кончивший (видать, неплохо ему и в полиции).

– Федя! – закричал Мышецкий, радуясь. – Феденька!

– Феденька, голубь мой... – заголосил Бенедиктов.

– Сударь, вы просто невыносимы! Разве вы его знаете?

– Нет. Но вы скажите ему, что я честный человек, шел...

– Федя! – снова закричал Мышецкий.

– Феденька! – взвыл Бенедиктов...

Щенятьев, бывший правоведа, подбежал на зов, весь сияя.

– А-а, князьинька! – узнал он Мышецкого. – И тебя закатали?

И, похохатывая, покатился дальше с бумагами. Но железный закон корпорации уже вступил в свое действие. Презри лицей, отврати университеты, но правоведа выручай! «В самом деле, – думал Мышецкий, – не дай-то бог, если до властей предержавших дойдет слух о моем аресте. Смешно!.. Однажды князь Леонид Вяземский, слуга престолу, вступился было за студентов, когда их били на улице, так только и видели князя в Государственном совете!..»

– Как вы мыслите, – спросил Бенедиктов, – ваш знакомый большим ли пользуется здесь уважением и престижем?

– Иди к черту! – сказал Мышецкий, посмотрев на часы.

Половина шестого. Быстро время летит! Студенты, замерзнув, играли в чехарду. Молодость! Им-то что... А вот для него, князя Мышецкого, все гораздо сложнее: «Мне и без того хватает...»

Снова прибежал Федя Щенятьев и стал отчитывать на допрос первую партию. Последним, словно пробку, выдернули из толпы Мышецкого и снова «приобщили». За спиной князя еще долго раздавался голос Бенедиктова.

– Вот они! – кричал либерал. – Вот они, сатрапы нашего строя – полицейский и губернатор! Рука руку моет...

В темном вонючем коридоре участка Федя Щенятьев толкнул князя в нужник служебного персонала.

– Стой! – сказал. – Угости сигарой...

В уборной они, закурив, переждали, когда проведут всех арестованных. Щенятьев спросил о Бенедиктове:

– А этот тип, что орал, он какого выпуска?

– Не наш, – ответил Мышецкий. – Пускай сидит...

На прощание Щенятьев показал на рассеченный лоб князя:

– Ты арником, князьинька. Арником... Ну, не попадайся! Сергей Яковлевич вернулся домой, вызвал по телефону Бертенсона с аптечкой. Тот явился и был удивлен.

– И вы, князь? – спросил доктор. – Но моя же Зюзинька звонила вам утром, чтобы вы не уходили из дому... В министерстве давно ждали этой демонстрации и, как видите, были готовы. Уезжайте, – наставительно произнес Бертенсон. – Продавайте дом и уезжайте. Вам здесь нечего делать... А потом, когда все утихнет, вернетесь!

\*\*\*

А из газет Сергей Яковлевич узнал, что «статский советник Бенедиктов уволен по высочайшему повелению в отставку без прошения о пенсии».  
Либералу не повезло. «Так ему... с надранием!»

## 6

Дом он все-таки продал. Жалко стало только на один момент, когда дворник забрался на крышу, взмахнул ломом и – хрясть! Прямо по гербу – гербу фамилии. Обрушились дворянские щиты, рыцарские шлемы, три стрелы и золотые рыбки на голубом поле.

И проступила старая, еще дедовская, штукатурка...

– Да, – вздохнул Мышецкий, – была у собаки хатка!

Итак, в Петербурге его ничто более не держало. Ничто, кроме сената и его решения. Солидный дом «Обюссон» скупил у него часть старинной мебели, которая представляла антикварную ценность. На Большой Морской князь быстро оформил финансовые дела, переведя капитал на Парижское отделение Торгово-промышленного банка. Комплект белья – от придворного поставщика «Артюр», а дорожные вещи – от фирмы «Бехли». Уезжать казалось и тяжело и радостно, как жениться...

Полиция заявила, что никаких претензий к отъезжающему князю не имеет. На радостях побежал князь платить десять рублей на «Красный Крест», что полагалось всем отбывающим за границу. Только в канцелярии генерал-губернатора произошла заминка.

– Долгов не имеете? – осведомился чиновник.

– Нет, – храбро ответил Мышецкий.

– Не состоите ли под судом?

– Нет.

– Нет ли к вам следственных претензий со стороны правительства?.. Предупреждаю: в случае неправильных показаний вы подлежите содержанию в тюрьме сроком до четырех дней.

Это было ужасно!.. Мышецкий торопливо сознался во всем.

– Правда, – сказал, – в сенате ныне ведется разбор моей служебной деятельности. Но я думаю, по зрелом размышлении...

Хрусть-хрусть – чиновник порвал выездной лист.

– В таком случае, князь, отбытие за границу возможно лишь с высочайшего соизволения. Обратитесь в собственную его императорского величества канцелярию...

Делать нечего: побрел Мышецкий на Екатерининский канал в бывший Михайловский дворец. В спокойно-холодном кабинете, где ничего не было лишнего, принял его сам главноуправляющий – гофмейстер Танеев. По дружбе с сыном его, известным математиком, Сергей Яковлевич доверчиво рассказал о своей просьбе.

– В такой день! В такую трудную минуту для отечества... – ответил князю Танеев и, отвернувшись к окну, долго рыдал.

«Что за бред?» – думал Мышецкий, ничего не понимая.

– Разве не знаете, – сказал наконец Танеев, – что Порт-Артур пал перед лукавым врагом? Я не могу беспокоить моего дражайшего государя просьбами, в коих нет ничего государственного! Обратитесь, князь, прямо в министерство...

Ну, шагать-то тут недалеко. Волынским переулком, кратчайше, вышел князь Мышецкий на Дворцовую площадь. Если бы не видел слез Танеева, то, наверное, и сам бы поплакал. Но плакать после Танеева казалось как-то неприлично. Вроде прихлебательства!..

– Господа, – спросил Сергей Яковлевич в министерстве, – вы слышали, что Порт-Артур пал?

– Если бы пал, а то ведь, говорят, сдал его Стессель...

Стало еще тошнее. В таком состоянии предстал Мышецкий пред светлые очи «тройного» князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого; выслушал тот его, как друга, и сказал:

– Помилуйте, Сережа, при чем здесь мы? Прямой расчет тебе обратиться в первый департамент...

Пошел в первый департамент, там сказали, что они этим не занимаются, и велели идти в третий. А в третьем сделали глаза как плашки:

– Кто вам это внушил? Да ничего подобного! Идите прямо в канцелярию – это их дело...

«Без працы не бенды кололацы», – и не пошел, уже потащился князь Сергей Яковлевич обратно к Оболенскому-Нелединскому-Мелецкому: мол, так и так, велели, друг милый, к тебе идти.

– Да что они путают? – возмутился «тройной» князь. – Я же тебе сразу сказал определенно: иди в канцелярию его величества, прямо к Танееву... А при чем здесь мы?

Круг замкнулся. Спаси и помилуй нас, грешных! В коридоре министерства присел Мышецкий на диван. Что же делать? Вдруг видит – идет куда-то дедушка швейцар. Сам старенький уже, седенький. Ливрея горит на нем, как на тамбурмажоре! И несет дед в руке булку с изюмом. Отщипнет и пожует...

– Дедушка, милый... – сказал ему князь Мышецкий.

– Ась? – приблизился дедушка.

На ухо деду:

– Достань мне паспорт, чтобы за границу выехать по личному разрешению государя-императора... Как? Сможешь?

Дедуся был уже такой старенький, что, кажется, даже и не заметил, как князь ему в карман золотой опустил.

– Так вам, сударь, бесперечь всего, Иванов нужен!

Мышецкий долго ломал себе голову, перебирая Ивановых.

– Аполлиария Викторовича? – вспомнил одного, помаститее.

– Не, – мотнул бородой дедушка. – Аполлиарии Виктырчи будят Ивановы-шашнадцатые. А вам, милостивый государь, надобно – девяносто восьмого Иванова... Ну, следуйте!

Сергей Яковлевич пошел за дедом в конец коридора. Дверь.

– Стукай! – сказал дедушка и побрел по своим делам, жуя...

В крошечной комнатенке сидел искомый Иванов девяносто восьмой.

Так себе человечиска – муха вроде. Но зато нос у него был весьма примечательным. Сразу видно было, что похмеляется человек регулярно. Такому деньги всегда нужны! И под локоть ему – сотенную: радугой кверху, чтобы обнадежить. Иванов девяносто восьмой (без сюртучка, в подтяжках) поскреб что-то перышком и был лапидарен, как Александр Македонский или фельдфебель перед солдатом:

– Фамилия? Имя? Отчество?.. Скоренько!

Открыл шкаф, а там – стопка паспортов. Быстро заполнил, подышал, прилепнул. Пожалуйста! Вот и высочайшее повеление...

Да-а, хорошая была демонстрация государственного строя.

И подумалось Мышецкому – ясно: «Такому строю, где ничего нельзя сделать в кольце бюрократии, но зато все можно сделать за деньги, – такому строю только и держаться на штыках. Но сколько можно еще держаться? Мы ведь разлагаемся, это явно!»

Чтобы не погрешить законами, он все-таки дал публикацию в газеты (на три номера) о своем отъезде за границу. Может, прочтут и хватятся? Первый номер – молчат. Вторая публикация и, наконец, третья... Нет, сенат забыл о нем: можно ехать смело!

Но случайно в том же номере газеты перехватил взглядом и такое сообщение: «Сим объявляет об отъезде в свое благоприобретенное имение Уренской губернии г-н А. Н. Жеребцов и его супруга...»

«Урожденная княжна Кейкуатова», – вдруг вспомнил Мышецкий и не придал тогда этой заметке никакого значения: с Уренским у него вроде бы все надолго покончено.

Наступил день отъезда – день раздумий. Тяжело закончился этот год для Мышецкого – тяжело и для России. Демонстрация на Невском и в Москве (тоже подавленная Святополк-Мирским), постыдная сдача врагу Порт-Артура бахвалом Стесселем – все это лишь наружные факты, хорошо заметные каждому обывателю. Однако были еще и подспудные самовзрывающиеся признаки, которые оставались известны только посвященным в тайны цифр. И князь Мышецкий, влюбленный в статистику, как шулер в карты, подбил на прощание знаменательный итог:

Истощение земли продолжается, война «обезмужичила» деревни, отняла у дворов главную силу... Государственный долг России, запутавшейся в займах, составляет уже 6 миллиардов 652 миллиона рублей... Картошки деревня стала сеять на 78 процентов больше, чем в другие годы (явный признак голода и обнищания)... Россия выпила в этом прошедшем году 71 миллион ведер водки – всего на 300 тысяч ведер меньше, нежели в предвоенном 1903 году (и это при запрете на крепкие напитки!). И наконец, простой подсчет показал, что навозных удобрений клади на свои поля и крестьяне и помещики поровну: значит, культура агротехники еще не затронула ни мужичьего хозяйства, ни дворянской латифундии... Скверно!

Тягостное настроение немного поправилось, когда князь сел в коляску, чтобы ехать уже на вокзал. Но тут к нему подбежал запыхавшийся человек – в распахнутой шубе, фуражка инженеров морского ведомства сбилась на затылок.

– Сударь, – закричал он, – прошу, уступите мне!

– Помилуйте, – ответил Мышецкий, – у меня поезд, я спешу. А что у вас? Несчастье?

Инженер уже вскочил на подножку, от него пахло пивом:

– На Путиловском начались волнения рабочих! Гони!..

Сергей Яковлевич вспомнил Мариенгоф и старика Мусселиуса. Как он говорил тогда? «Один гудок Путиловского завода сейчас может определить судьбу России...» – кажется, так говорил он. И это сообщение о стачке рабочих было той красной чертой, под которой Мышецкий – тут же, в коляске, – подвел итог минувшего года. «Что-то принесет новый?..»

\*\*\*

Вагоны класса «люкс» благоухали лавандой, плюшевые диваны крепко пропитались одеколоном. Внизу, под грохочущим мостом, клубясь морозным паром, тягуче протек Обводный канал. Слева остались казармы лейб-гвардии казачьего полка – главного поставщика «трубачей» для князя Мещерского.

Впрочем, ничто не ущемляло сейчас души. Было даже как-то весело. Прямо с насыпи, под окном вагона, катились на самодельных коньках, сделанных из лошадиного ребра, окраинные мальчишки. «Дети, дети! Что-то ждет вас впереди?» И дымили в отдалении трубы; где-то там, неслышная отсюда, на всю Россию мощно ревет сейчас труба путиловцев.

В соседнем купе-салоне ехала старуха с легионом компаньонов. Лаяли плюгавые японские собачки, очень часто повторялось на все лады неудобное слово «клизма». Сергей Яковлевич вышел в коридор – бездельник среди бездельников. На дверях купе старухи прочел табличку: «Графиня Шувалова». Какая? Может, екатеринбургская, у которой на Урале заводишки, чугун и прочее? Или вдова дипломата, которой грозят забастовки не только в России, но и в Германии, ибо сам Вильгельм подарил ей акции железных дорог?.. Исподтишка Мышецкий глянул в приоткрытую дверь. Нет, эта Шувалова – другая, незнакомая ему.

Сергей Яковлевич шел вдоль коридора вагона, читая таблички на дверях, выискивая знакомых. Кажется, одного нашел:

А. А. СТОЛЫПИН

Корреспондент «Нового времени»

Сергей Яковлевич решительно откинул клинкет двери.

– А-а-а! – встретил его Столыпин радостно.

– Сани, а с каких это пор ты служишь у старика Суворина?

– О-о-о-о...

– Может, перекусим в ресторане? Как?

– У-у-у-у...

Так и сделали. Выпив коньяку, Сани Столыпин стал несколько трезвее и удобопонятнее.

Выжимая в стакан лимон, он сказал:

– Будь другом: только не спрашивай о моем братце!

– А я как раз хотел спросить, что подельвает Петр Аркадьевич? Все так же? Сидит в Саратове?

– Ты можешь быть вежливым? – возмутился Сани. – Куда ни приду, всюду донимают меня вопросами о брате...

– Что делать, если твой брат заметно выделяется.

– А, брось! – сказал Сани. – Такой же дурак и консерватор, как и все. Только болтает много!

Мышецкому стало смешно от подобного признания.

– Не ты ли, милый Сани, был редактором архиконсервативных «Санкт-Петербургских ведомостей»?

– Э-э, – облизнулся Сани. – Приятно вспомнить, как Плеве меня уволил за... «вредное направление». Вредное, – смачно повторил Сани, облизываясь снова. – Какой же я консерватор? Теперь вот у старика Суворина. Ничего-о, ла-адим! Ему ведь что? Пиши что угодно. Только в конце жидов не забудь облаять!

– А тебе, Сани, не противно все это? – спросил Мышецкий.

– Да как сказать... Выбор в прессе велик. А скажи мне ты, чистоплюй-князь, какую газету читает царь у самовара? Все-таки – «Новое время»! Меня читает... Оценил? – Сани пронаблюдал, как Мышецкий медленно цедит коньяк сквозь зубы, и вдруг вспомнил: – Слушай! А ты раньше писал стихи. Где они?

– Бог с ними. Ни одной рецензии так и не было. Дрянь!

Пили и смотрели в окно. А там пролетала перед ними Россия, словно навсегда погибшая в метельных визгах, и вечерний сумрак уже трепетно занимал ее розовеющие скорбные дали.

– Удираем? – подмигнул князю Столыпин, хохоча.

– От чего? – не понял Мышецкий.

– Да все от нее, родимой... от революции! – И опять громко смеялся, показывая хорошие зубы; потом как-то сразу потускнел, заговорил: – Плохо, брат князь. Не то, что раньше...

– О чем жалеть?

– Молод был. Писал легко. Быстро!

– Тебя и сейчас никто не гонит...

Сани быстро глотал коньяк, смотрел на князя одним глазом:

– Понимаешь, князь, выдохся... То ли раньше бывало! Денег нет. Вдохновения – нет, и занять негде. Раз-два, беру в долг.

– Вдохновение? – серьезно спросил Мышецкий.

– Зачем? Беру билет. Все быстро! Очень быстро. Экспресс Париж – Владивосток. Высаживаюсь с корабля в Нагасаки. Быстро женюсь на японке. Быстро развожусь с ней. Быстро прилетаю «на берега Невы». Я – полон. И быстро пишу замечательный очерк под названием «Как я женился на японке»!

– Ну? – достал зубочистку Мышецкий.

– Все! Кое-где намекну, что знаю тридцать четыре способа восточной любви. Дамы за мной ухаживают. Мне это приятно – дамам само собой! Публика читает нарасхват. Издатели гонорарий платят. И все – без осложнений! Все быстро, быстро...

Неожиданно Сергей Яковлевич вспомнил, что еще там, в Уренске, когда он носился с идеей сборника в пользу голодающих, Иконников-младший говорил ему о Сани Столыпине.

– Сани, – спросил князь, – а ты знаешь Иконникова?

– А что? Разве ты ему должен? Так не отдавай. Я ему никогда не отдавал!

И стало на миг тошно.

– Сани, – сказал, – выпьем еще чего-нибудь...

И неслась ночь за окном – дремучая, истинно российская, которую ни с какой другой ночью не спутаешь. Опустел ресторан.

– Ты куда едешь? – спросил Столыпин.

– Да так... еду.

– Это хорошо. Поезжай!

– А ты, Сани? Тоже «так»?

– Да нет. Посидел вот недавно в наших «Крестах». И, знаешь, что-то мне там не понравилось!

– Сколько и за что? – спросил Сергей Яковлевич.

– Три дня. Не буду объяснять. Ты – правовед, и все поймешь. По статье тысяча пятьсот тридцать пятой...<sup>1</sup> дрянь статьяшка! И вот еду посмотреть, как сидится у немцев в Моабите.

– Суворин тебя послал? Или от министерства?

– Это волокитно! Еду на свои кровные. Любительски. Вот приеду в Берлин. Быстро выпью на вокзале коньяку. Быстро набью морду полиции. Быстро сяду в тюрьму. Быстро отсижу, сколько положено. И быстро напишу очерк «Как я сидел в Моабите»... Деньги нужны! Понимаешь? А узнай в министерстве, что я знаком с тюремным вопросом на Западе, так меня, как Данаю прекрасную, Лопухин сбрызнет золотым дождичком!

– Ну-ну, – поскущел Сергей Яковлевич. – Пошли спать, Сани. Когда Вержболово проедем – ты не спрашивал?..

Поддерживая друг друга на вагонных площадках, они шли через состав. И не был в эту ночь пьян Сергей Яковлевич, но как-то душно пропитался всякой дрянью: тюрьма Моабит и русские «Кресты», девочка японка на шее Сани, а потом братец его – Петр Аркадьевич, что сидит ныне в Саратове, но поговаривают...

«Ах, чего только не говорят на Руси! Верить ли?»

На узком переходе тамбура, когда с ревом пролетала внизу платформа черного моста, Сани стал кидаться на рельсы.

– Будь оно все проклято! – кричал он, пьяно рыдая.

Мышецкий перехватил его, рывком забросил в вагон. Прижал к стене, и Сани от страха стал тихим и трезвым.

– Удираем? – подмигнул он Мышецкому.

\*\*\*

С детства запомнил Сергей Яковлевич одну картинку: мчится окутанный паром локомотив, а рядом с ним, через леса и через горы, упираясь черепом в облака, неслышно скользит тень смерти, с косой на костлявом плече.

---

<sup>1</sup> Статья № 1535 Устава о наказаниях в царской России предусматривала наказание за квалифицированную клевету с помощью привлечения печатных изданий. (Здесь и далее – примеч. автора.)

Нечто подобное шагало и сейчас за экспрессом. Мышецкому даже казалось, что русская Жакерия, вся ее ярость и жестокость, бежала сейчас рядом по шпалам, заглядывая пустыми глазами в зеркальные окна «люкса». И время от времени выхватывала свою жертву. Обескровленную и обмякшую, как мешок, от ужаса! Выхватывала и швыряла обратно в Россию – в самое пекло забастовок, из которого они бежали, эти жертвы...

Вагоны, заполненные в Петербурге, быстро пустели. В одних только Режицах гуртом оставили поезд нефтепромышленники: на промыслах Кавказа началась стачка, и когда эти богатые дяденьки тащились вдоль коридора, на них смотрели, как на обреченных. А за Ковно, у неказистой платформы, за которой шумели глухие леса, поезд стоял дольше обычного. Посапывал паровоз – в терпеливом ожидании. «Чего стоим?» – удивлялись пассажиры. Наконец из станции выскочил запаренный телеграфист, в руке – пачка телеграмм. Проводники пошли вдоль вагонов, выкликая служащих корпуса жандармов и Министерства внутренних дел. Все отпуска этим господам были отменены – надо бороться!

Мышецкий с интересом наблюдал за раздачей телеграмм. Всем людям, в безукоризненных пиджаках или одетым в дорожные халаты, при всей их милой обывательской непосредственности, вдруг пришлось разоблачать себя – свою таинственную сущность. Вот и соседу Мышецкого по купе протянул проводник бланк:

– Начальник жандармского округа... Генерал-майор Вейс!

– Дайте, это я. – И забыл попрощаться с Мышецким.

Поезд наконец тронулся. Скоро и Вержболово – граница.

– Фу, – перевел дух Мышецкий, – кажется, теперь-то уж проскочим. Дай-то бог! Неужели и меня воротят? Ай-ай...

Поздно вечером экспресс остановился на границе. Краткий таможенный осмотр. Формальности. Публика в «люксе» чистая – с ней возни немного. Сани Столыпин дрыхнул в купе, накрытый чистой простыней, словно покойник. Его даже не стали проверять. Офицер пограничной стражи только глянул на табличку, прочитал:

– «Новое время»? Господин Суворин... «Бей жидов, спасай Россию»? Ну, пусть спит с богом... До Берлина отойдет!

Мышецкий стоял возле окна и в отражении стекла видел, как в купе напротив сидит перед католическим распятым, словно филин, старая графиня Шувалова. «Кто она? Что она? Куда едет? Может, у этой ведьмы тоже была нелегкая жизнь? И, может, был свой граф Сен-Жермен? Она вся оттуда – из прошлого. Лучше не смотреть, лучше глядеть на перрон...»

Россия! Тяжко ухал вдали духовой оркестр, оглушая станцию печальным вальсом «На сопках Маньчжурии». Щеголяли хлыстиком пограничные офицеры. Фуражки набекрень, а ладони правых рук сунуты за отвороты шинелей. И большие пальцы, почти у всех, манерно отогнуты. Тоже мне – Бонапарты! Под окнами вагонов фланировали дамы в шубках. Остромордые шпицы тянули их на поводках, увлекая к столбикам... Прощай, Россия!

И поплыл вдаль последний русский перрон, скоро славянское Вержболово обернется прусским Вирбалленом! Навстречу катились немецкие платформы, груженные банками с анилиновыми красками. И вдруг поезд резко затормозил. «Неужели и меня? – с ужасом подумал Мышецкий. – Может, убежать в уборную и запереться? Пускай ищут!..»

Хлопали двери. Взволованно переглядывались пассажиры, когда в вагон поднялся таможенный чиновник с бумагой. «Кого еще? Чей настал черед вернуться в Россию, потрясаемую стачками вслед за путиловцами?.. Ну, господа?» И облегченно вздохнули, когда чиновник прошел в салон графини Шуваловой; там долго лаяли на него собачонки, эдакие плюгавицы – тряские!

Вот она! Согбенная, страдающая, шла дряхлая графиня, обломок времен еще николаевских. Выносили за ней баулы, и, словно в божественной литургии, одна из компаньенок

несла впереди католическое распятие. Рубинами, а не кровью, были украшены плоские ступни Иисуса Христа! Высадили – с честью.

Сергей Яковлевич узнал о причине и навестил Саню Столыпина, который уже проснулся от резкого тормоза.

– Куда перекладывают эти мощи? – спросил Сани, зевая.

– Ты никогда не догадаешься, – хохотал Мышецкий. – Сын графини оповестил ее телеграммой, что на старости лет решил принять православную веру. Вот и едет – разбираться.

– О господи, – загрустил Сани. – Конечно, это ужасно, когда русский граф покидает лоно католицизма и приобщается вновь к родимой просвирке... Эх, Русь, Русь!

В вагоне уже показался прусский офицер и, сверкнув стеклышком монокля, произнес на добротном русском языке:

– Вирбаллен! Дамы и господа, прошу извинить меня, что волею закона Пруссии я обязан исполнить долг службы, почетной и хлопотной... Проводник, включите все лампы! Дамы могут отдыхать, как и прежде: прусский офицер всегда уважает прекрасную половину человечества! Приступим к мужчинам... Паспорт! – И он резко выбросил руку в сторону князя Мышецкого.

– Будьте любезны, сударь, – ответил князь, протянув ему паспорт, выданный с «высочайшего соизволения» (хм... хм...).

А за границей Пруссии, за низеньким перроном, где в старомодных вытертых шубках гуляют гарнизонные барышни, бурлила и волновалась тревожная Россия, вступившая в 1905 год.

«А все-таки – проскочили», – думал Сергей Яковлевич.

## 7

Вот и Берлин, будь он неладен: с утра уже скука.

«Ну, – осмотрелся Мышецкий на улицах, – город изменился мало. Только автомобилей стало больше...»

Всюду порядок, чинность, дисциплина, верноподданность и высокая нравственность германской женщины, заверенная документально в полиции. На всем – штамп! И повсюду – надписи: не входить, запрещено, нельзя, плевать сюда, окурков туда, уборная за поворотом налево, два пфеннига, осторожно... Потому и вспомнился князю милый Уренск. Вот где свобода! Рай! «Нет, – размышлял он, – что ни говори, а в знаменитой русской распущенности есть нечто добротное, здоровое. Незаконнорожденные дети Европы, мы лукаво косим глазами на Восток и на Запад; мы потому и должны быть свободны, что нам широко и просторно – у нас много земли, жирной и сочной. Бедные, мы сами не ведаем, как мы богаты! Пусть критикуют нас, но мы живем как нам хочется...»

А вот Алиса пришла на память как-то... от домов. Именно эти унылые серые дома Берлина, как это ни странно, напомнили и жену. Пора признаться: брак был скучен. Да и понятно: он слишком русский – по закваске, по духу, по привычкам. Приучен к безрежимной сумятице бестолковых столкновений. Ошибался. Выправлял. Три дня мог не есть, а потом объедался блинами. Ей это было непонятно, а ему – так и надо! Мог забыть о ней совсем, а потом, словно дикарь, накидывался с ласками. Но то, что Алиса называла гармонией жизни, представлялось Сергею Яковлевичу теперь сознательным усыплением.

Еще раз осмотрелся, нанял мотор. Поехал обедать в кафе Бауэра, где, как известно, столовались русские эмигранты. Даже здесь, в Берлине, тянуло к своим – россиянам, черт бы их всех побрал! Мотор довез его до угла Фридрихштрассе. Князь не пожалел, что заехал в кафе Бауэра, – сразу попался интересный собеседник, чем-то похожий на покойного Кобзева. Явный бедняга эмигрант – потертый, пьющий дешевый мазарган.

– Чтобы особенно полюбить Россию, – сказал он князю, – надобно видеть ее со стороны. Расскажите мне о ней!

Сергей Яковлевич, чтобы не оскорблять бедности собеседника разницей в еде, тоже заказал для себя нищенский «картофель-салат», сбрызнутый луковой подливкой, и ел с удовольствием.

– Что рассказать вам о России? Россия, как говаривал еще Гоголь, страна пространственная и малопонятная... Прощу вас, выпейте моего вина. Вам, наверное, тяжело здесь живется?

На глазах собеседника блеснули слезы:

– Вы бы знали, сударь, как тяжело! Не погрешу в сторону чрезмерного патриотизма, ежели заверю вас, что мы, русские, и талантливее немцев, и выше их нравственно! Вот и ученые...

– Однако, – подхватил Мышецкий, – уклад германской жизни таков, что позволяет немцам-ученым оставить после себя трудов больше, нежели русским. И они не боятся узко-специальности! Здесь не смеются над химиком, который знает лишь... химию.

– А у нас? – спросил собеседник. – Министр внутренних дел Валуев писал романы, химик Бородин – оперы. Театрами командуют кавалеристы! Скальковский хотел управлять балетом, но его назначили директором горного департамента! Фортификатор Шильдер стал историком, а знаменитый Бутлеров – спиритом...

Только он это выпалил, как сразу подскочил еще эмигрант.

– Минуту внимания! – заявил он, садясь без приглашения рядом. – Я слышал здесь имя великого Бутлерова... Позвольте представиться: его любимый ученик. А ныне – отгадыватель

мыслей на расстоянии! Вот и афиша о моем выступлении в парке Зоо... – Человек развернул афишку, показал ее только князю, а собрату по изгнанию не показывал. – Что делать, как жить?

Мышецкий с чувством подлил вина «ученику Бутлерова».

А первый собеседник поднял над столом скрюченный палец, на котором совершенно отсутствовал ноготь.

– А теперь, – сказал он князю, – возьмем хотя бы нравственность, сравним потуги буржуазной морали с нашим укладом...

Но тут кельнер тронул князя за плечо:

– Вас просят в контору для разговора по телефону.

– Нет ли ошибки? – удивился Мышецкий. – Я первый день...

– Простят... именно вас! – настоял кельнер.

Сергей Яковлевич проследовал в контору, и дверь за ним сразу захлопнулась. Перед князем сидел сам владелец кафе Бауэр.

– Судя по всему, – сказал он, – вы недавно в Берлине. Кто вы и что вы – меня пусть не касается. Но хочу, как социал-демократ с тысяча восемьсот девяносто седьмого года, предупредить вас. Собеседники ваши, которых вы неосмотрительно пригласили за свой стол, есть тайные агенты царского правительства. И следят за приезжими...

– Но я не эмигрант, и мне бояться нечего. Имею честь представиться: князь Мышецкий.

Направился было к дверям, но герр Бауэр остановил его:

– Я не знаю – князь вы или не князь! У меня посетители бывают разные. Но честь моего заведения требует, чтобы вы, если пришли звонить по телефону, то и позвоните. Наша полиция ничуть не хуже вашей, и она не простит мне, как социал-демократу с тысяча восемьсот девяносто седьмого года, если я...

Мышецкий, раздраженный донельзя, уже захлопнул двери. Спустился в общий зал – злой. Но теперь на стуле его сидел какой-то лыка не вязавший россиянин. Еще молодой, толстогубый, одетый с купеческим шиком. А в него уже вклезились агенты тайной охраны и слезно упрашивали:

– Чтобы особенно полюбить Россию, – внушали они пьяному, – надобно видеть ее со стороны. Такая печаль полей, тихие березки на околицах. Роковые события. Расскажите, что знаете!

– Дайте пива! – кричал человек. – Я все расскажу!

– Извините, господа, – вмешался Мышецкий. – Но, к великому сожалению, нас просят вернуться в гостиницу; прощайте.

И, сказав так, сдернул пьяного со стула, потащил к выходу. Не пропадать же россиянину! Впихнул земляка в мотор:

– Сударь, куда вас отвезти? Где вы остановились?

– Столешников пере... ул... ул... Вези!

Делать нечего: отвез к себе в роскошный «Бристоль» и уложил отсыпаться. «О, жизнь... О, мать Родина, ты в Берлине!»

А вот и утро. Россиянин проснулся в номере Мышецкого.

– Ты за пивом послал? – спросил. – Какой же день сегодня?

– Воскресенье.

– А вчера суббота была?

– Да.

– Ой! Ну, скажи на милость, как время летит...

Кое-как пришел в себя. Опомился. Мышецкий спросил его, где тот остановился. Гость порыскал по карманам, долго копался в лохматом бумажнике и безнадежно махнул рукой.

– Потерял. Все потерял... А ты – кто? – спросил вдруг.

Мышецкий о княжестве своем предусмотрительно умолчал.

– Ну, а я – вот кто! Читай, там все написано обо мне...

С исподу визитной карточки красовалось изображение фыркающего паром самовара, а на титуле витиевато начертано:

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЛЕГАСHEВ

Тульский купец 1-й гильдии.

Чудо-ребенок с детства.

Чудо-изобретатель XX века.

– Что же вы изобрели, Андрей Иванович?

– Не все сразу, – отвечал Андрюша. – Для начала я скрестил лисицу с пуделем. Получилось нечто. Проверил у Брема – нет. У Дарвина – тоже не сыскал. Факт – изобретение! Теперь вот зебру из Африки выписал. Попробую и ее с кем-нибудь... Но главное – самовары! Давить надо тех, кто из чайника пьет. И знаешь ли, что есть самовар? (Мышецкий благоразумно умолчал о том, что когда-то писал о чае и самоварах.) А самовар, – продолжал чудо-ребенок, – есть источник здравого просвещения. Да! Сначала у народа – любовь к чаю, потом любовь к грамоте. Были вот на Руси просветители: Новиков, Радищев, Пушкин, а теперь я – просвещаю темную Русь...

– А в Берлине – что? – спросил Мышецкий.

– Эх, если б знать... – приуныл Андрюша. – А то ведь, хоть убей, не помню. Ну, по порядку. Прибыл загодя из Тулы на Москву, снял номерок в Столешниковом. Ну, как водится, для приличия выпил. И больше ничего не помню... Очнулся: шторы опущены, как на Столешниках. Зову, значит, человека я, чтобы пива принес. А является не человек, а нахал: гут из морга! И ни копейки – фрю-фрю! А в Туле-то как раз меня в думу выбирать желали. Фа-акт... Да и жена! Что подумает? У тебя пфенниги есть? Дай...

– Нету, – приврал Мышецкий, осторожничая. – Обратись в посольство. Должны помочь российскому гражданину.

– Да там смеются... Я, честь честью, как человек порядочный, свистнул послу «визиткой» через швейцара. Не последний человек как будто! А меня послы эти самые, немчура проклятая, ферфлюхтеры, обглазели всего, как в цирке, и велели не пускать более!

– Напиши жене, – советовал князь. – Мол, так и так, плохо!

– Да хоть в тюрьму садись. Может, слушай-ка, так и написать ей? А то ведь – не поверит... Нет, напишу, сижу, мол!

Так и написал: «Сижу в тюрьме, высылай на Берлин, до востребования, не скупись, привезу подарки». Отправил телеграфом за счет Мышецкого и сразу успокоился – человек наивный.

– Ну, давай, теперь вези меня. Показывай, что знаешь...

Весь день Сергей Яковлевич провозился с чудо-ребенком – не в тягость. Рядом с таким легко. И не было той высокопарной болтовни, от которой он утомился. Простота умиляла! Играй с ним, как с котенком, и ни о чем не думай. Пора уже позволить такую роскошь – отвести сердце в глупостях.

– Без працы не бенды кололацы, славный Андрюша! – сказал Мышецкий под вечер. – Ты меня понял?

– Еще бы! Я, брат, все понимаю...

– Мне твои опыты с пуделями и самовары просвещения положительно нравятся. Продолжай и дальше... просвети нашу серость!

– Я бы ничего, да за дурака считают.

– Пренебреги, милый! Такие люди, как ты, Андрюша, украшают мрачные горизонты печальной русской действительности... Едем?

– Конечно. Давно на ресторан намекаю.

– Нет, – ответил Мышецкий, смеясь. – Сначала посольство...

Как раз напротив здания русского посольства раскинулись во множестве книжные и газетные ларьки.

– Die letzten Neuigkeiten aus Russland!<sup>2</sup> – закричал газетчик, угадав в Андрюше русского подданного.

– Может, меня ищут? – засомневался Легашев.

Но по лицу князя, от которого вдруг сразу отхлынула кровь, понял – что-то стряслось в отечестве, ужасное, небывалое.

– Ну? – спросил. – Ну?

– Мерзавцы! – крикнул Мышецкий, скомкав газету...

Лицом к лицу столкнулись с Сани Столыпиным, выскочившим из посольства. Глаза – как у кота, круглые от испуга, котелок заломлен на вспотевший затылок, пальто – раздергано.

– Ты уже знаешь? – спросил, возбужденно приплясывая.

– Кроме подробностей, – отозвался Мышецкий.

– Стреляли пачками! Бегу на вокзал... Ах, какой же я глупый, что уехал... Столько убитых! Сейчас только писать и писать...

В русское посольство русских до русского посла не допускали. Не в меру ретивый секретарь придержал и Сергея Яковлевича:

– Граф фон дер Остен-Сакен никого не принимают.

– А все-таки доложите послу, что князь Мышецкий желает его видеть...

Секретарь вернулся со скорбным лицом:

– Его сиятельство Дмитрий Ерофеич просили уволить его от свидания с вами. А также велели напомнить вам, князь, чтобы, во избежание излишних инсинуаций, вы избегали в общественных местах разговаривать по-русски, дабы не привлекать к себе нездоровый интерес иностранцев...

«Дожили!..» На улице поджидал князя потерянный Андрюша.

– Вот мы с тобой и дожили, милый, – сказал ему Мышецкий. – Мало нам Манчжурии, так еще надо стыдиться говорить по-русски!

Заблудшим щенком терся рядом Андрюша Легашев, чудо-ребенок и прочее. Сергей Яковлевич молча глотал слезы. Что угодно – только не этого ожидал он.

Весь конец дня был проведен в мерзости. Выворачивало наружу все – все, что можно вспомнить. Не обедали, не ужинали. Внутри что-то перегорело. Душа погружена в гадливые потемки.

– Знаешь, давай ляжем сегодня пораньше, – предложил Сергей Яковлевич, и Андрюша покорно согласился, притихший.

Но среди ночи он разбудил Мышецкого.

– А царь-то, – сказал купчик так, словно сделал открытие, – ну и дурак же он... Фа-акт! Сначала – Ходынка, а нонече – бойню народу своему сделал. Да кто ж ему поверит теперь? А?

– Верить трудно, – согласился князь, страдая...

\*\*\*

В этот день Гапона спасал его друг – Петя Рутенберг:

– Бежим.

Потом его расстригли. Тут же, в подворотне, он сбросил сан священнослужителя, ерзали по лохам тупые ножницы.

– Больно, больно, – плакал поп. – Не рви!

---

<sup>2</sup> Последняя новость из России! (нем.)

Остригли патлы, и ключья волос разобрали, как святыню: попу продолжали верить. Рутенберг увлекал его за собой.

– Спаси меня... ты же опытный, – просил поп.

В створку двери выглядывал чей-то острый татарский глаз.

– Пуссти, – взмолился Гапон этому глазу.

Савва Морозов отпер ему двери, а сам, как барс, через пять ступенек взлетел наверх.

– Алеша, – сказал он Максиму Горькому, – Гапон бежит...

Гапон ворвался в комнаты, крикнул:

– Вина-а!.. – Выпил два стакана подряд, его трясло. – Что делать? – спросил надрывно. –

Рутенберг где? (Рутенберг вырос рядышком.) Ты не уходи, – просил его Гапон, – ты опытный...

Савва Морозов раскурил тонкую папиросу: он был смел, как витязь, и ему претила чужая трусость.

– Алеша, усмири попу...

– Надо идти до конца, – глухо сказал Горький. – Всегда идти до самого конца... Даже если погибнем!

Присев к столу, отставив ногу, Гапон быстро черкнул записку к рабочим за Нарвскую заставу, где сообщил, что занят «их делом». Потом оглядел всех и сказал:

– Ну, а теперь... спрячьте меня от полиции!

Тягот подпольной жизни Гапон не выдержал и вскоре, близ Таурогена, перешел границу...

Плеханов приласкал его, как национального героя.

– Надеюсь, вы не будете возражать, если я сообщу о вас Каутскому для публикации в его «Vorwärts»?

– Телеграфом, – сказал Гапон. – Так быстрее... Европа вдруг разом заговорила о Гапоне.

## 8

Провожать Мышецкого на вокзал потянулся и верный Андрияша. Сергей Яковлевич ссудил его, до получения денег из Тулы, малой толикой, наказав:

– Пей только пиво! Если что, так я буду в середине января в Марселе. Запиши хотя бы на манжете: отель «Буазен»...

Немецкие вагоны коридоров не имели, двери купе открывались прямо на перроны. Повсюду суетились газетчики, продавцы кокаина и порнографии. Отбывающие в Париж немецкие буржуа дружно раскупали презервативы и свежую «Фигаро». В купе к Мышецкому тоже просунулась голова торговца – знакомого еще по кафе Бауэра.

– ...помимо всего прочего, – сипло сказал шпик, – имеется также в продаже Гапон, всего три пфеннига...

Узнал князя и хотел смыться, но Мышецкий придержал властно:

– А ну, дайте сюда Гапона! Благодарю. Оставьте себе сдачу...

И глянул на него с карточки не поп, а шафер с купеческой свадьбы. Этакий молодец! Манишка – дыбом, словно на дипломате, волосы гладко на пробор, как у прусского юнкера, а сам взирает на мир героем – через стеклышки пенсне. «Вот тебе и поп!..»

По другую сторону Рейна нагнало Мышецкого еще одно известие из России – был арестован Максим Горький; а на высокий пост петербургского генерал-губернатора назначили лютого Трепова.

«Где зимуют в России раки?» – интригующе кричали подзаголовки газет. Сергей Яковлевич разворачивал теперь газетные листы, как больные старики вскрывают фантики с лекарством: поможет или погубит окончательно? «Интересно, где же зимуют на Руси раки?» Оказывается, сообщали иностранные газеты, Трепов при вступлении в должность объявил так: «А я знаю, где они зимуют. И я покажу всем, где они зимуют...»

В смутном сознании личной ответственности за все, творимое сейчас в России, приехал Сергей Яковлевич в Париж. Почему у него появилось такое странное, гнетущее чувство – он и сам не мог разобраться. Но освободиться от него был не в силах и тут же на вокзале засел глушить вино.

– Вы из России? – догадался официант. – Как это понятно, мсье. Особенно нам, французам! Вы переживаете... да, да! У нас тоже был король, который имел глупость жениться на немецкой принцессе. Добром это, как вы знаете, не кончилось. Именно тогда-то, мсье, мы и были вынуждены изобрести гильотину!

От вина стало глуше на сердце. Велел отвезти себя в пансион «Для воздержанных мужчин» (были в Париже и такие отели). Бросив гарсону франк, оставил багаж консьержу и, даже не поднимаясь в номер, окунулся в сутолоку парижских улиц.

Но куда денешь себя? «Глупо все... Не вернуться ли?»

И куда бы князь ни пошел, отовсюду, с витрин магазинов, выглядывая из вороха дамских чулок и нижних кружевных юбок, героем смотрело на князя Мышецкого прилизанное лицо Гапона (знаменитости). «Вот бы ему, – думал князь, – в распорядители танцев! С такой-то внешностью больше и делать нечего...»

В оружейном магазине Сергей Яковлевич долго выбирал себе хороший браунинг. Человек за прилавком горячо убеждал князя купить именно вот этот – семизарядный, последнего выпуска.

– Поверьте мне, – толковал француз, – все русские революционеры предпочитают убивать своих министров именно из этой надежной системы. Так что, если вы, мсье, тоже из числа этих, то лучше вам и не найти... Советую! Искренне советую!

– Ладно, – вздохнул князь. – Зарядите, пожалуйста...

И сунул попку в карман. Зачем? Сам не знал. Но стало легче.

\*\*\*

Отказались стрелять в народ 9 января матросы гвардейского экипажа. Потом дрогнули ряды убийц, и, печатая шаг, ушла прочь рота Преображенского полка, командир которой, князь Оболенский, тоже решил не участвовать в убийстве... «Этот потомок декабристов – молодец!» Остались верные – они-то и свершили.

Теперь Витте рассуждал о чистоте рук и новом курсе. Санкт-Петербург утопал в жестоким мраке: бастовали все заводы, все электростанции. В магазине Елисеева, дробно светясь в разноцветных стеклах, горели свечи. Приказчики говорили шепотом:

– Прикажете завернуть, мадам?..

В жуткий мрак города вдруг врезался слепящий глаз. Ярко-фиолетовый, остро жужжащий! Это матросы втащили на башню Адмиралтейства флотский прожектор. Мертвый луч света рассек чудовищную пустоту Невского и затерялся где-то вдали – у Знаменской площади. Люди ходили быстрым шагом. Часто оглядывались назад. И юркали в подворотни...

Трепов – жилистой рукой диктатора империи – посадил Булыгина на место князя Святополк-Мирского: эпоха «доверия» приказала долго жить. Старый министр ушел в отставку, и развевались полы его солдатской шинели. «Если бы не жулик Витте...» – горько вздыхал Святополк-Мирский.

Булыгин еще не успел нагреть кресло министра, как Трепов алчно загреб всю власть. «Александр Григорьевич, – сказал ему диктатор, – вы следите за прессой. А все опасное и трудное я беру на свою шею...» Договорились! Но сколько ни совали убитых в проруби, шила в мешке не утаишь: на кладбищах окраин росли и росли кресты с одинаковой надписью – «невинно убиенный 9 января 1905 года» (такие кресты, по приказу Третьякова, срубали потом по ночам топорами).

Трепов разговаривал с царем, как с малым дитячком.

– Ваше величество, – дерзил он, – пора уже вам и выступить перед обществом, как государю, как монарху...

– Дмитрий Федорович! – пугался император. – Но пятьдесят тысяч пострадавшим я уже дал. А получаю в год всего двести тысяч. У меня же – семья, дети, обязанности...

– Но рабочие шли к вам девятого января! – настаивал Трепов. – Знать, у них дело было до вашего величества!

– Теперь уже поздно, Дмитрий Федорович, не идти же мне к ним на улицу... Что вы предлагаете?

– Зачем вам идти? Они сами придут, ваше величество...

Путиловский котельщик Егор Образумов сидел дома, в свете пятилинейной керосиновой лампы, мирно дул липовый чай с блюдца и, не строя никаких баррикад, грыз постный сахар, когда к нему постучали.

– Феня, – сказал Образумов, – ты спроси – кто?

Ввалились: помощник пристава, жандарм, двое городских и один дворник. Образумов от страха штаны себе прохудил.

– Ваше благородие, ей-ей, не я... Кожуркин начал! Кожуркин!

– Дворник, – позвал жандарм, – это и есть тот?

– Точно так. Он самый...

– Прошу одеться!

Образумов положил сахарок на блюдце, с краев обкусанное:

– За што? Вот крест святой... Кожуркин! Яво и берите...

– Не разговаривать!

Запахнули Образумова в карету – повезли без разговоров. Вот и комендантский подъезд Зимнего дворца. Едва ноги волок по мраморным ступеням. Увидел самого Трепова и задрожал.

– Ну, был грех, – стал каяться Образумов. – Ну, верно: выпили мы литку. Дал я ему бутылкой... Так за што казните?

– Обыскать, – распорядился Трепов.

– Горе-то... горе-то какое, – убивался Образумов. – Ваш сиятельство! Дык это кажинного так можно... Кожуркин первый полез! А я только бутылкой... Кожуркина и берите!

Барахло смотали в узел, привесили бирку. Ну, все: прощай, дорогая свобода! И вдруг (мати дорогая, спаси и помилуй нас!) несут Образумову белье, тащат пиджак с искрой, штиблеты.

– Ну-ка одевайся, сокол! – говорит ему Трепов, улыбаясь.

Тут Образумов осмелел. Давай штаны новые натягивать.

– Зеркало-то... есть ли? – спросил. – Посмотреться...

Опять – в карету и повезли. В императорский павильон Царскосельского вокзала. А там еще тридцать три человека – под стать Егорке, в пиджаках, в штиблетах. Красуются...

– Ты с какого завода? – спросил Образумов одного из них.

– Цыц! – подскочил жандарм. – Переговоры воспрещены.

Посадили в вагон на диваны. Тронулись. До Царского Села.

– Предупреждаю вас, – объявил Трепов в приемной императора, – что вы все представляете здесь выборную рабочую делегацию, которой его величество желает выказать свое монаршее доверие. И выслушает все ваши нужды.

Николай спросил одного депутата:

– Ваше имя?

– Василием нарекли, ваше величество!

И рассеянно повернулся ко второму:

– ...отчество?

– Потапыч буду по батюшке!

Третьего спросил о фамилии.

– Херувимов! – бодро отозвался тот.

В результате опроса появилось новое лицо, никогда не существовавшее в русской истории: Василий... Потапович... Херувимов. Бог с ним!

Развернув бумагу, Николай тихо прочел свою речь.

– Я верю, – заявил он, – в честные чувства русских людей и непоколебимую их преданность мне, а потому прощаю им вину передо мною!..

Затем был хороший обед, и забегавшийся Трепов тоже закусил и выпил с «выборными» рабочими.

...Обо всем этом Сергей Яковлевич узнавал из газет, иностранных и русских (нелегальных). Было стыдно за Петербург: двор царя после крови даже не отрыгивал – он просто блевал. Мышецкий спрашивал себя: «И можно ли быть еще глупее?..»

\*\*\*

Не страдать он не мог. Хотелось найти объяснение событиям в России, но понимал (ясно, с мужеством), что сам-то он не сможет разобраться в русской сумятице. Оттого-то и потянуло Мышецкого туда, где – казалось ему – он услышит верное, авторитетное мнение...

В зал «Тиволи» – туда, где будет говорить Анатоль Франс!

Французов послушать стоило. Не только потому, что они – мастера культа речи. В памяти Франции еще не застыли недели Коммуны 1871 года, когда колеса версальских пушек плыли в загустевшей крови убитых, и рабочие Франции особо сочувствовали рабочим России. Именно

Париж стоял в центре протестующего мира – Париж с его традициями славных революций, Париж с его писателями и жоресовской газетой «Humanité».

Зал «Тиволи» вмещал очень много людей. Но всем бросался в глаза худущий, как смерть, русский полковник с бритой головой, в долгополом казачьем чекмене с газырями. Печально, полузакрыв лицо ладонью, слушал он речи французов о трагедии его родины. Анатоль Франс заговорил о России, и Мышецкий был удивлен: этот философ-эпикурец, оказывается, разбирался в борьбе русских партий гораздо лучше, нежели он, бывший губернатор и правовед.

– ...судьи России, – чеканил Франс, – обвиняют свои жертвы в покушении на общественное благо. Но мы-то знаем, что в России еще не установлено общественное благо! И напрасно они, эти судьи, станут утирать свои подлые руки о тексты законов, которые более смертоносны, нежели японские «шимозы», рвущиеся сейчас в Маньчжурии. О, дикое безумие агонизирующего старого порядка!.. И, наконец, они арестовали и держат в «русской Бастилии» человека, который принадлежит совсем не им, а всей цивилизации образованного мира... Дело Горького – наше общее дело!..

А на смену тонкому облику Франса явилась вдруг, заслонив сцену и сразу взорвавшись в грохоте слов, неистовая фигура бунтаря Жореса, издателя «Humanité». Нет, не журналист, не профессор, а – мужик, винодел, скотобой, рыбак, задира... Вот он: руки в карманах, голова – вперед, склоненная, как перед дракой. Затопля зал «Тиволи», рокоча, оплывала из жерла рта горячая сверкающая лава его речи – речи прокурора, судившего весь мир (весь), такой пошлый и несуразно устроенный.

Сергей Яковлевич не мог сказать – согласен он с Жоресом или не согласен: он был раздавлен и смят, как лягушка, попавшая под вола. Потом, после митинга, каждый прошел перед жертвенной урной. Кто сколько мог – кидали монеты. Это была дань Франции семьям петербургских рабочих, убитых 9 января. Впереди длинной очереди блестела бритая голова русского полковника. Вот он опустил свои деньги, перекрестился и надел папаху.

И в этот момент Сергей Яковлевич подумал – с верой, что

Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать —  
В Россию можно только верить.

Князь задержал на мгновение свои пять франков в руке. На урне было начертано: «Социалисты Франции – социалистам России!» Усмехнулся князь, разжал пальцы, и его деньги навсегда затерялись в этом неустроенном мире, который кто-то и когда-то должен воссоздать заново. А как – это еще неизвестно.

Но момент этот был очень острый... Для него!

И тут Сергей Яковлевич заметил в толпе человека, которого знал по Петербургу, хотя они и служили в разных министерствах. Мышецкому было приятно встретить здесь, в этой необычной для него среде, человека своего круга, своих сословных понятий. С трудом пробился он через плывущую на выход толпу, тронул Чичерина за плечо:

– Георгий Васильевич... добрый день!

Они пошли рядом, беседуя.

– Мы с вами отчасти коллеги, – говорил Мышецкий Чичерину. – Я писал работу к юбилею Министерства финансов, а вы – к юбилею Министерства иностранных дел... Скажите, Георгий Васильевич, вы по-прежнему служите при архиве этого почтенного ведомства?

– Нет, – суховато ответил Чичерин. – Я ушел...

– Но перед вами открывалась такая блестящая карьера! – удивился Мышецкий. – У вас такое богатое знание языков... вплоть до испанского, кажется?

– Вплоть до ирландского, – поправил его Чичерин холодно.

– Конечно, – намекнул Сергей Яковлевич, – у человека таких способностей, как ваши, всегда много завистников... Я не покажусь вам чересчур бестактным, если спрошу: вы сами ушли или...?

– Изучать историю дипломатии, – недовольно ответил Чичерин, – можно и не будучи состоящим по министерству, при графе Ламздорфе!

Сергей Яковлевич посмотрел на мятый воротничок собеседника, на его впалые щеки («недоедает, наверное?» – подумал), и ему стало все ясно:

– А-а, понимаю... Очевидно, ваш уход можно объяснить толстовством, заветам которого вы, кажется, давно следуете?

– Нет, – отозвался Чичерин, – я уже давно не следую этому учению. Как-то стыдно сейчас, когда льется кровь людей, кушать манную кашку, сидеть на скамеечке, поджав ноги, чтобы – не дай бог! – не раздавить какую-нибудь букашку... Нет, – подтвердил Георгий Васильевич, – я давно уже отошел от толстовского учения. Лучше расскажите мне, князь, о себе... Что у вас?

Коротко поведал о своих казусах. По службе и личных. Чичерин, сразу оживившись, с интересом спросил:

– Да, я слышал краем уха, у вас там случилось что-то с Зубатовым? Вы разве вступали с ним в контакт?

– Ни в коем случае, – отверг Мышецкий. – Я старался по возможности стоять в стороне. Чичерин рассмеялся, помягчело его лицо.

– Постойте, – придержал он Мышецкого, – оглядитесь... А?

Они стояли в глубине узкой улочки, еще хранившей аромат времен Рабле, и железные кренделя над воротцами старых домов усугубляли старину; стены зданий, столько видевших на своем веку, были желты от времени, как слоновая кость.

– А много раньше, – подсказал Чичерин, – крыши были крыты не этим аспидом, а – свинцом. И кирпич был розов на закатах солнца. Вот в этом доме... да не туда смотрите, князь!.. Вот в этом! Тут Карл Шестой предавался безумным оргиям и шуты в маскарадных платьях сгорали живыми факелами, воющими из яркого пламени...

Чичерин вдруг заговорил о Париже... но как! Он открыл для Мышецкого Париж с его тайнами. Вот отель «Ду-Миди», и казалось, сейчас выглянет из окошка голова арапа Самора, любимца мадам Дюбарри. А вот здесь Бенжамен Констан назначил первое свидание мадам де Сталь – и она прибежала, трепетная. Но вместо слов любви услышала призывы к конституции! А в этом доме Наполеон основал знаменитый орден Почетного легиона...

– Вы часто здесь бывали, Георгий Васильевич?

– Увы, я впервые в жизни стою на этой улице...

– Как? – воскликнул Мышецкий, пораженный. – Тогда... откуда?

– Только из книг, князь, – вздохнул Чичерин, улыбаясь очаровательно. – Ныне проживаю в Берлине, в Париже – наездом...

Мышецкий заговорил о Берлине, которого не мог выносить:

– Эти вахтпарады, этот вой сирен, когда кайзер выезжает из дворца, это чванство... Нет! У меня все время такое чувство, будто мне показывают здоровенный кулак. Наконец, и этот социализм, вроде некоего отделения имперской канцелярии... Что это?

– Да, – согласился Чичерин, – Бисмарку отчасти удалось то, к чему стремился у нас Зубатов. Но русский рабочий, если угодно, князь, менее склонен к соглашательству с правительством... А кстати, – спросил Чичерин, – каково ваше впечатление от «Тиволи»?

Сергей Яковлевич уже немного поостыл от речей Франса и Жореса – ведь это же только слова, из французского далека пиками устремленные в заснеженную Россию. Ощутит ли сумрачный Петербург эти уколы гениальных слоев, которые брошены сегодня так широко и свободно Франсом и Жоресом?..

– Видите ли, – призадумался Мышецкий, – сами же французы говорят: критика легка, а искусство тяжело... Что вам ответить? Мы, русские, всегда – через голову Германии – были близки Франции. Двор может лобызаться с Вильгельмом, как и раньше, но русская интеллигенция впитает в себя призывы Франса!

– Пожалуй, – согласился Чичерин, – это так... Идеи французских революций нам понятны. И заветы дороги... Не надо, однако, князь, отворачиваться и от Германии: вы сегодня слушали Жореса, но вы послушайте хоть раз... Бебеля!

Распрощались возле неказистого особняка, и Чичерин приподнял мятую, выцветшую шляпу:

– Здесь я остановился... Желаю всего доброго, князь!

– Вы позволите мне как-нибудь навестить вас?

Георгий Васильевич замялся.

– Поймите меня правильно, князь, – сказал Чичерин, глядя в глаза Мышецкого. – Видеться нам не нужно...

Сергей Яковлевич подозрительно вспыхнул.

– Сударь, – сказал, задетый за живое. – В чем дело?

– Нет, нет, – горячо ответил Георгий Васильевич, беря руку князя в свою. – Не подумайте дурно; я противу вас ничего не имею, пересудов света не признаю. Наоборот, вы даже чем-то импонируете мне, как человек. Но... но...

– Говорите же! – подстрекнул Мышецкий.

– Но я порываю отношения не лично с вами, князь, – ответил Чичерин. – Если бы только вы... Нет! Я порываю отношения со всем классом, к которому не желаю отныне принадлежать. Прощайте же и вы, князь!

Мышецкий долго стоял, размышляя. Вспомнил угрозы Лопухина, который говорил ему в Мариенгофе, что вырваться из своего сословия невозможно. Чичерина эти угрозы, очевидно, не касались. А ведь порвать с отечеством, уйти из семьи – легче, нежели вырваться из тисков своего класса...

Через зеркальную дверь Мышецкий пронаблюдал, как Чичерин взял у консьержки ключ, как медленно поднимался по лестнице. И ни разу больше не обернулся... Всё!

## Глава вторая

### 1

В сезон «бояр-рюсс», когда вся знать спасается от русской зимы за границей, поп-расстрига Гапон проживал в семействе Азефа в Париже: два провокатора под одной крышей. Конечно, ни Азеф, ни сам Гапон существа своего еще не распечатали.

Между тем русского героя Гапона пожелал видеть Клемансо.

Казалось бы, чего уж лучше? Высоко залетел. Но поп устроил Азефу скандал из-за того, что ему купили для визита рубашку не такую, какую он хотел.

– Я хотел с гофрированной грудью! – кричал поп. – Модной...

Четвертого февраля великий князь (и родной дядя царя) Сергей Александрович выехал в свой последний путь по улицам Москвы... Неизвестный, забежав впереди кареты его, швырнул «гремучку» под ноги лошадей. Московский генерал-губернатор был разорван на куски. А человек, бросивший бомбу, ошалело замер на месте покушения. Набежала полиция, появился фотограф. На покушителе не было живого места. Вся одежда в лохмотьях, дымилась и тлела от искр. По привычке фотограф крикнул ему: «Спокойно! Снимаю...» Это был Иван Платонович Каляев, сын околоточного надзирателя, студент и социалист-революционер, посланный на смерть Азефом...

А в тесной комнатке на Гороховой, два (в Петербурге), Алексей Лопухин, хорошо знавший, сколько платить Азефу и сколько дать Гапону, задумчиво слушал, как на подоконнике названивают два телефона сразу. Директор департамента полиции вызовов не принимал – ему все уже надоело: «В Тамбов бы, в угол!...»

Дверь в кабинет его разлетелась – на пороге стоял диктатор Трепов.

– Убийца-а! – заорал он в лицо Лопухину. – Пятаки копишь?

И дверь захлопнулась. Алексей Александрович, которого обвинили в скаредности, преспокойнейше раскуривал сигару. Небрежным жестом щелкнул крышкой часов: «Пожалуй, пора обедать...» В кабинет к нему протиснулся дрожащий от страха секретарь:

– Алексей Александрович, за что вас так?

– Пустяки, милейший, – ответил Лопухин невозмутимо. – Этот цезарь собачий клячил у меня тридцать тысяч на усиление охраны покойного князя Сергия, а пятак-то я ему и не дал. У меня Азеф как раз много забрал перед этим. Тут и великого князя не стало. Все одно к одному... В Тамбов бы – в угол, спать!..

А вдоль промозглой камеры номер тридцать девять в Трубецком бастионе Петропавловской крепости расхаживал высокий худой человек с обвислыми усами. Сухо покашляв, он присаживался к столу, и ледяной холод железа пронизывал его большие работающие руки. Бумага, на которой он писал, была пронумерована в департаменте полиции.

Узник работал по ночам. И часовые нередко пугались: тишина, мрак, и вдруг по крепости разносится хохот, – это смеется, назло всему, заключенный в камере номер тридцать девять. «Уж не спятил ли?» – говорили стражи. Нет. Это был здоровый смех – смех творчества. «Дети солнца» – так называлась рукопись...

\*\*\*

Наконец-то сбросил пальто – вот солнце, вот море. Марсель!

Крохотное кафе на набережной. Так и заманивает внутрь своими настезь открытыми дверями. Зашел. Сел возле окна, лениво наблюдал, как покачиваются вдаль красные паруса, Хозяин таверны, громко икая, цедил в графин дешевый «пинар». Из кухни принесли князю горячий марсельский буйаббес, и Сергей Яковлевич вспомнил, когда он ел его в последний раз. Давно уже – в пригороде Монте-Карло; тогда ему было хорошо и жизнь еще не имела осложнений. Сейчас же все труднее и розовый пинар не веселит души, как раньше. И снова, в который раз, мелькнула заманчивая мысль: «А не вернуться ли обратно?..»

С улицы забежала бродячая собака. Громко стукнув об пол костями, улеглась в прохладной тени под стульями. Сергей Яковлевич взялся за тарелку.

– Вы позволите мне покормить собаку? – спросил он.

Хозяин обмахивался от жары мокрым полотенцем, икал.

– Как угодно, мсье. Меньше мыть придется...

Длинным шершавым языком, не отвращаясь от чеснока и перца, собака слизала с тарелки буй-аббес. Благодарно ткнула свою голову в колени Мышецкого и вздохнула, шумно и печально. Сергей Яковлевич отмахнул жужжащую муху, целившуюся сесть в нечистый глаз доброго животного. И стало грустно: хорошо бы и ему найти человека, чтобы вот так... доверчиво... взять и ткнуться!

– Русское консульство – где? – спросил князь.

– В самом конце Каннебьер, мсье...

Отряхнув панталоны от собачьей шерсти, покинул кафе. Но прежде чем навестить консула, зашел в отель «Буазен», где в прохладе плещущих тентов цвели острые перья американских фикусов.

– Если не ошибаюсь, – спросил у консьержа, – люкс у вас абонирован на весь февраль? Когда ожидается приезд господина Иконникова из Алжира?

– Нет, – вдруг ответил консьерж, – люкс свободен до...

«Зачем бы Лопухину меня обманывать?» – справедливо решил Сергей Яковлевич. – Значит, маршрут любовников изменился!» Вдоль длинного ряда притонов Марселя, мирно спящих в дневном зное, князь направился в самый конец проспекта Каннебьер, где отыскивал русское консульство. Сонный грек, секретарь консула, встретил гостя далеко не приветливо:

– Ну, что? Что стучите? Я же открываю, цударь.

Петр Викенгьевич Корчевский, генеральный консул в Марселе, плотный красивый старик, вкусно поцеловал Мышецкого в лоб:

– Сережа, славный... как ты пошел в отца! Милый мой, садись. Ах, сколько лет! Боже, Яков-то Борисыч и маменька твоя не дожили... Ну, какой ты красавец!

Сергей Яковлевич, как та собака, ткнулся лицом в жилетку старого друга дома и расплакался, словно ребенок.

– Ну-ну, – утешал его консул. – Что с тобой, мальчик мой?

– Так, – сказал Мышецкий. – Много вы напомнили. Да и жизнь дает немало поводов для разных огорчений...

Корчевский любовно усадил князя напротив себя:

– Посмотри на меня! Вот и мы с твоим батюшкой, когда начинали службу при посольствах, тоже были озарены надеждами. Мерещилась нам судьба Горчакова, Моренгейма или Будберга. Вот ведь: марсельский консул, и это в мои-то годы... Что делать?

Обычные обиды стариков-неудачников! Жизнь не удалась...

Сергей Яковлевич спросил, что слышно из России:

– Не из газет. А что притекает к вам по ведомственным каналам?

– По каналам, мой милый, плывет всякая нечисть. Государь человек добрый, но его сбивают и пугают. Говорят, он очень тяжело пережил этот ужасный расстрел и сразу выдал из своего жалованья деньги, чтобы поддержать семьи убитых и раненых!

– Откупные деньги, Петр Викентьевич, имеют дурной запах. А этот Гапон – мерзавец! Не герой, как о нем, к сожалению, думают в Европе, – выскочка, парвеню! Смотрите: земский статистик, священник пересыльной тюрьмы, организатор фабричных союзов, а ныне эмигрант и член партии эсеров... Ну, скажите, долго ли еще можно болтаться? И наконец, ныне он пишет мемуары... Тьфу!

– Ах, милый Сережа, но такие люди нужны тоже...

– Кому? – удивился Мышецкий.

– Вашему министерству, – пояснил консул.

Сергей Яковлевич засмеялся. И подумал вслух:

– Не пойму только одного, кому все это нужно? Ведь теперь стало ясно: двор знал, что рабочие идут. Знал и приготовился! Выходит, убийство людей было совершено сознательно... Так?

– Ахиллес Гераклович! – позвал Корчевский секретаря.

– Ну что? Что вы кричите? – забурчал секретарь.

– Будьте добры, сударь, проверить ворота...

Секретарь ушел, а Корчевский заговорил снова:

– Второй секретарь Бутенброк спит, а этого византийца я нарочно отослал, чтобы не слушал... Будем же откровенны! Неужели, Сережа, ты не понимаешь, зачем был нужен этот расстрел?

– Убийство бессмысленно и... дико. Дико!

– Не бессмысленно, – возразил ему консул. – Расстрел имел свою цель, и вполне определенную. Как же ты, голубчик, служа по делам внутренним, и такой чепухи понять не можешь?

– Хорошая же чепуха, которой не может осознать вся Европа!

– Нам ли смотреть на Европу? А двор понял: надобно раз и навсегда поставить точку...

Громадную, жирную!

– В конце... чего? – спросил Мышецкий.

– В конце революции, – тихо ответил Корчевский.

– Ах, вот оно что! Но, если так, то... Простите меня, Петр Викентьевич, они плохо знают народ. Я соприкоснулся с ним поближе, пока был на посту губернатора, и теперь отчетливо представляю, что шутить с этим народом нельзя... Нет! Девятое января – не точка, а страшная кровавая клякса, которую никогда не стереть из памяти России...

– Что такое! – послышалось из-за дверей. – Вот так ходис все, ходис и ходис... Цловно мальцык какой!

Корчевский прижал палец к губам:

– Тсс... Мы еще потом договорим. Может, перекусим?

– Давно чаю не пил, – сознался Мышецкий, улыбаясь...

Беседуя о старом, они пили чай, когда с улицы в тихое убежище русского консульства вдруг ворвался шум голосов: «Горьки, Горьки! Максим Горьки!» Корчевский побледнел. Медленно складывая салфетку, позвал испуганно:

– Ахиллес Гераклович!

– Ой, ну, бозе з ты мой, здес я... Всегда здес!

– Душа моя, выгляните-ка в окошко...

Тот выглянул, поспешно стал задергивать шторы. Голоса росли и крепили, и вот уже, пробившись через сутолоку городского приboя, вырвались возгласы – четкие: свободу Максиму Горькому, позор монархии, принять протест... Мышецкий задумчиво сосал конфету, Корчевский крестился.

– Господи, – говорил консул, – думали, Парижем все и закончится, и вот на тебе. Все снова! У нас... Что скажет посол Нелидов? Ему и своих протестов хватает... А ты, Сереженька, пей чаек, пей! Это не твоего ведомства...

Легко сказать – пей, когда здоровенный булыжник рассадил вдребезги окно. Корчевский кинулся звонить в полицию, но вернулся еще более растерянный. Крики нарастали. Протест!..

– А что сказали вам в полиции? – спросил Мышецкий.

– Мэр города берет стекла на счет префектуры...

– А остальное?

– Здесь же – не Ташкент, Сереженька! Остальное все на наш счет... Ахиллес Гераклович, где вы?

– Что? Что вы от меня ещо зелаєте, цударь?

– Ах, боже мой! Ну, разбудите же Бутенброка.

– Бутенброк посел рыбку ловиц на прицтань...

Корчевский умоляюще сложил руки перед Мышецким:

– Сережа, ангел мой! Ради памяти батюшки... выручи. А?

– Но что я должен сделать, Петр Викентьевич?

– Выйди... скажи... образумь... А?

Мышецкому только этого и не хватало.

– Петр Викентьевич, но какое я имею отношение к вашему Ведомству? Пришел к вам, как к другу моего покойного отца. Вы меня любезно угостили чаем – спасибо... И – вдруг?

Звяк – стекло: под стол закатился камень, ловко запущенный с улицы. В разговор вступил секретарь-византиец:

– Консул зе боицца: его Нелидов Паризе...

– Молчи! – цыкнул консул. – Сережа, и правда, что боюсь. В конце карьеры, сорок лет по разным консульствам, как собаку худую, меня гоняют. Ни угла, ни семьи... Ну? Что тебе стоит?

– Отворите дверь на террасу, – сказал Мышецкий, обозясь.

Яркий свет южного солнца ослепил его. Синей лазурью вспыхнуло море. А здесь, прямо под ним, задрав головы кверху, стояли французы. И пахло от них канатами, мылом и рыбой.

Сергей Яковлевич смигнул с носа пенсне.

– Мы, – начал, – искренне уважаем ваше чувство солидарности!

– Примите протест! – заявили ему с улицы, не дослушав.

– Ваш протест мы принимаем близко к сердцу...

– Не к вашему сердцу, мсье, а прямо – к царю. Примите!

На конце вытянутой кверху палки болтался пакет с протестом. Что делать? Сергей Яковлевич перевесил свое тело через барьер, подхватил пакет и направился прочь с террасы. Под каблуком противно визжало битое стекло. Корчевский стоял, держась за виски, и его шатало, как пьяного.

– Мальчишка! – простонал консул. – Что ты наделал? Зачем?

Мышецкий швырнул пакет с протестом на стол:

– Петр Викентьевич, а как бы поступили вы на моем месте?

Корчевский мотал жилистыми бледными кулаками:

– Кто давал тебе поручительство принимать заявления от социалистов, когда я, консул, не волен принимать их? Ты же погубил меня... Куда я дену это? Ахиллес Гераклович, возьмите...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.